

Стихотворения шаги

Ольга Седакова
Стихотворения шаги

Избранные стихи

Электронное издание

Настоящее электронное издание предоставляется для бесплатного личного некоммерческого использования. Цитирование допускается с обязательным указанием имени автора и источника. Электронный файл воспроизводит авторский макет печатного издания. Библиографическое описание оригинальной публикации приводится ниже в справочных целях.

Седакова О.А.

Стихотворения шаги. Избранные стихи / О. Седакова. — М.: Арт Волхонка, 2017. — 336 с.

26 декабря

Где точка с точкой разговаривает,
звезда с звездой говорит,
где разум лучшее утраивает,
а прочее благодарит,

над замороженными чашами,
над пустырями, где ни зги –
горящие, сумасводящие
стихотворения шаги.

2015

Старые песни

1980 – 1981

Первая тетрадь

Что белеется на горе зеленой?

А. С. Пушкин

1 Обида

Что же ты, злая обида?
я усну, а ты не засыпаешь,
я проснусь, а ты давно проснулась
и смотришь на меня, как гадалка.

Или скажешь, кто меня обидел?
Нет таких, над всеми Бог единый.
Кому нужно – дает Он волю,
у кого не нужно – отбирает.

Или жизнь меня не полюбила?
Ах, неправда, любит и жалеет,
бережет в потаенном месте
и достанет, только пожелает,
поглядит, как никто не умеет.

Что же ты, злая обида,
сидишь предо мной, как гадалка?

Или скажешь, что живу я плохо,
обижаю больных и несчастных ...

2 Конь

Едет путник по темной дороге,
не торопится, едет и едет.

– Спрашивай, конь, меня что хочешь,
всё спроси – я всё тебе отвечу.
Люди меня слушать не будут,
Бог и без рассказов знает.

Странное, странное дело,
почему огонь горит на свете,
почему мы полночи боимся
и бывает ли кто счастливым?

Я скажу, а ты не поверишь,
как люблю я ночь и дорогу,
как люблю я, что меня прогнали
и что завтра опять прогонят.

Подойди, милосердное время,
выпей моей юности похмелье,
вытрани молодости жало
из недавней горячей ранки –
и я буду умней, чем другие!

Конь не говорит, а отвечает,
тянется долгая дорога.
И никто не бывает счастливым.
Но несчастных тоже немного.

3 Судьба

Кто же знает, что ему судили?
Кто и угадает – не заметит.

Может, и ты меня вспомнишь,
когда я про тебя забуду.

И тогда я войду неслышно,
как к живым приходят неживые,
и скажу, что кое-что знаю,
чего ты никогда не узнаешь.

А потом поцелую руку,
как холопы господам целуют.

4 Детство

Помню я раннее детство
и сон в золотой постели.

Кажется или правда? –
кто-то меня увидел,
быстро вошел из сада
и стоит улыбаясь.

– Мир, – говорит, – пустыня.
Сердце человека – камень.
Любят люди, чего не знают.

Ты не забудь меня, Ольга,
а я никого не забуду.

5 Грех

Можно обмануть высокое небо –
высокое небо всего не увидит.
Можно обмануть глубокую землю –
глубокая земля спит и не слышит.
Ясновидцев, гадалей и гадалок –
а себя самого не обманешь.

Ох, не любят грешного человека
зеркала, и стёкла, и вода лесная:
там чужая кровь то бежит, как ветер,
то свернется, как змея больная:

– Завтра мы встанем пораньше
и пойдем к знаменитой гадалке,
дадим ей за работу денег,
чтобы она сказала,
что ничего не видит.

Человек он злой и недобрый,
скверный человек и несчастный.
И кажется, мне его жалко,
а сама я еще недобрее.

И когда мы с ним говорили,
давно и не помню сколько,
ночь была и дождь не кончался,
будто бы что задумал,
будто кто-то спускался
и шел в слезах и сам как слезы:

не о себе, не о небе,
не о лестнице длинной,
не о том, что было,
не о том, что будет, –

ничего не будет.
Ничего не бывает.

7 Утешенье

Не гадай о собственной смерти
и не радуйся, что все пропало,
не задумывай, как тебя оплачут,
как замучит их поздняя жалость.

Это всё плохое утешенье,
для земли обидная забава.

Лучше скажи и подумай:
что белеет на горе зеленой?

На горе зеленой сады играют
и до самой воды доходят,
как ягнята с золотыми бубенцами.
Белые ягнята на горе зеленой.

А смерть придет, никого не спросит.

8 Спор

Разве мало я живу на свете?
Страшно и выговорить, сколько.
А всё себя сердце не любит.
Ходит, как узник по темнице, –
а в окне чего только не видно!

Вот одна старуха говорила:
– Хорошо, тепло в Божьем мире.
Как горошины в гороховых лопатках,
лежим мы в ладони Господней.
И кого ты просишь – не вернется.
И чего ни задумай – не исполнишь.
А порадуется этому сердце,
будто птице в узорную клетку
бросили сладкие зерна –
тоже ведь подарок не напрасный!

Я кивнула, а в уме сказала:
Помолчи ты, глупая старуха.
Всё бывает, и больше бывает.

9 Просьба

Бедные, бедные люди!
И не злы они, а торопливы:
хлеб едят – и больше голодают,
пьют – и от вина трезвеют.

Если бы меня спросили,
я бы сказала: Боже,
сделай меня чем-нибудь новым!

Я люблю великое чудо
и не люблю несчастья.

Сделай, как камень отграненный,
и потеряй из перстня
на песке пустыни.

Чтобы лежал он тихо,
не внутри, не снаружи,
а повсюду, как тайна.

И никто бы его не видел,
только свет внутри и свет снаружи.

А свет играет, как дети,
малые дети и ручные звери.

10 Слово

И кто любит, того полюбят.
Кто служит, тому послужат –
не теперь, так когда-нибудь после.

Но лучше тому, кто благодарен,
кто пойдет, послужив, без Рахили
веселый, по холмам зеленым.

Ты же, слово, царская одежда,
долгого, короткого терпенья платье,
выше неба, веселее солнца.

Наши глаза не увидят
цвета твоего родного,
шума складок твоих широких
не услышат уши человека,

только сердце само себе скажет:
– Вы свободны, и будете свободны,
и перед рабами не в ответе.

1980

Вторая тетрадь

Посвящается бабушке

1 Смелость и милость

Солнце светит на правых и неправых,
и земля нигде себя не хуже:
хочешь, иди на восток, на запад
или куда тебе скажут,
хочешь – дома оставайся.

Смелость правит кораблями
на океане великом.
Милость качает разум,
как глубокую дряхлую люльку.

Кто знает смелость, знает и милость,
потому что они – как сестры:
смелость легче всего на свете,
легче всех дел – милосердые.

2 Походная песня

Во Францию два гренадера из русского плена брели.
В пыли их походное платье, и Франция тоже в пыли.

Не правда ли, странное дело? Вдруг жизнь оседает, как прах,
как снег на смоленских дорогах,
как песок в аравийских степях.
И видно далёко, далёко, и небо виднее всего.
– Чего же Ты, Господи, хочешь,
чего ждешь от раба Твоего?

Над всем, чего мы захотели, гуляет какая-то плеть.
Глаза бы мои не глядели. Да велено, видно, глядеть.

И ладно. Чего не бывает над смирной и грубой землей?
В какой высоте не играет кометы огонь роковой?

Вставай же, товарищ убогий! Солдатам валяться не след.
Мы выпьем за верность до гроба:
за гробом неверности нет.

3 Неверная жена

С того дня, как ты домой вернулся
и на меня не смотришь,
все во мне переменилось.

Как та вон больная собака
третий день лежит, издыхает,
так и душа моя ноет.

Грешному весь мир заступник,
а невинному – только чудо.
Пусть мне чудо и будет свидетель.

Покажи ему, Боже, правду,
покажи мое оправданье! –

Тут собака, бедное создание,
быстро головой тряхнула,
весело к ней подбежала,
ласково лизнула руку –
и упала мертвая на землю.

Знает Бог о человеке,
чего человек не знает.

4 Уверение

Хоть и все над тобой посмеются,
и будешь ты лежать, как Лазарь,
лежать и молчать перед небом –
и тогда ты Лазарем не будешь.

Ах, хорошо сравняться
с черной землей садовой,
с пестрой придорожной пылью,

с криком малого ребенка,
которого в поле забыли...

а другого у тебя не просят.

5 Колыбельная

На горе, в урочище еловом,
на тонкой высокой макушке
подвязана колыбелка.

Ветер ее качает.

Вместе с колыбелкой – клетку,
с клеткой – дуплистую елку.

В клетке разумная птица
свистит и горит, как свечка.

– Спи, – говорит, – голубчик,
кем захочешь, тем и проснешься:
хочешь, бедным, хочешь, богатым,
хочешь – морской волной,
хочешь – ангелом Господним.

6 Возвращение

Стих об Алексее

Хорошо куда-нибудь вернуться:
в город, где всё по-другому,
в сад, где иные деревья
давно срубили, остальные
скрипят, а раньше не скрипели,
в дом, где по тебе горюют.

Вернуться и не назваться.
Так и молчать до смерти.

Пусть они себе гадают,
расспрашивают приезжих,
понимают – и не понимают.

А вещи кругом сияют,
как далекие мелкие звезды.

7 Желание

Мало ли что мне казалось:
что если кого на свете хвалят,
то меня должны хвалить стократно,
а за что – пускай сами знают;

что нет такой злой минуты,
и такой забытой деревни,
и твари такой негодной,
что над нею дух не заиграет,
как чудесная дудка над кладом;

что нет среди смертей такой смерти,
чтобы силы у нее достало
против жизни моей терпеливой,
как полынь и сорные травы, –

мало ли что казалось
и что покажется дальше.

8 Зеркало

Милый мой, сама не знаю:
к чему такое бывает? –

зеркальце вьется рядом
величиной с чечевицу
или как зерно просяное.

А что в нем горит и мнится,
смотрит, видится, сгорает, –
лучше совсем не видеть:

Жизнь ведь – небольшая вещица:
вся, бывает, соберется
на мизинце, на конце ресницы.
А смерть кругом нее, как море.

9 Видение

На тебя гляжу – и не тебя я вижу:
старого отца в чужой одежде.
Будто идти он не может,
а его всё гонят и гонят...

Господи, думаю, Боже,
или умру я скоро –
что это каждого жалко?

Зверей – за то, что они звери,
и воду – за то, что льется,
и злого – за его несчастье,
и себя – за свое безумье.

10 Дом

Будем жить мы долго, так долго,
как живут у воды деревья,
как вода им корни умывает
и земля с ними к небу выходит,
Елизавета – к Марии.

Будем жить мы долго, долго.
Выстроим два высоких дома:
тот из золота, этот из мрака,
и оба шумят, как море.

Будут думать, что нас уже нет...
Тут-то мы им и скажем:

– По воде невидимой и быстрой
уплывает сердце человека.
Там летает ветхое время,
как голубь из Ноева века.

11 Сон

Снится блудному сыну,
снится на смертном ложе,
как он уезжает из дома.

На нем веселое платье,
на руке прадедовский перстень.
Лошадь ему брат выводит.

Хорошо бывает рано утром:
за спиной гудят рожки и струны,
впереди еще лучше играют.

А собаки, слуги и служанки
у ворот собрались и смотрят,
желают счастливой дороги.

12 Заключение

В каждой печальной вещи
есть перстень или записка,
как в условленных дуплах.

В каждом слове есть дорога,
путь унылый и страстный.

А тот, кто сказал, что может,
слёзы его не об этом,
и надежда у него другая.

Кто не знал ее – не узнает.
Кто знает – снова удивится,
снова в уме улыбнется
и похвалит милосердного Бога.

1981

Стихи из второй тетради, не нашедшие в ней себе места

Пир

Кто умеет читать по звездам
или раскладывать камни,
песок варить и иголки,
чтобы узнать, что будет
из того, что бывает, –
тот еще знает не много.

Жизнь – как вино молодое.
Сколько его ни выпей,
ума оно не отнимет
и языка не развяжет.
Лучше не добивайся.

А как огни потушат
и все по домам разойдутся
или за столом задремлют, –
то-то страшно будет подумать,
где ты был и по какому делу,
с кем и о чем совещался.

Другая колыбельная

Спи, голубчик, не то тебя бросят,
бросят и глядеть не будут,
как жница оставила сына
на краю ячменного поля.
Сама жнет и слезы утирает.

– Мама, мама, кто ко мне подходит,
кто это встал надо мною?

То стоят три чудные старухи,
то три седые волчицы.
Качают они, утешают,
нажуют они мелкого маку.
Маку ребенок не хочет,
плачет, а никто не слышит.

Старушки

Как старый терпеливый художник,
я люблю разглядывать лица
набожных и злых старушек:
смертные их губы
и бессмертную силу,
которая им губы сжала.

(Будто сидит там ангел,
столбцами складывает деньги:
пятаки и легкие копейки ...
Кыш! – говорит он детям,
птицам и попрошайкам, –
кыш, говорит, отойдите:
не видите, что я занят?)

Гляжу – и в уме рисую:
как себя перед зеркалом темным.

Бусы

Лазурный бабушкин перстень,
прадедовы книги –
это я отдам, быть может.
А стеклянные бусы
что-то мне слишком жалко.

Пестрые они, простые,
как сад и в саду павлины,
а их сердце из звезд и чешуек.

Или озеро, а в озере рыбы:
то черный вынырнет, то алый,
то кроткий, кроткий зеленый –
никогда он уже не вернется,
и зачем ему возвращаться!

Не люблю я бедных и богатых,
ни эту страну, ни другие,
ни время дня, ни время года –
а люблю, что мнится и винится:
таинственное веселье.
Ни цены ему нет, ни смысла.

Путешествие

Когда кончится это несчастье
или счастье это отвернется,
отойдет, как высокие волны,

я пойду по знакомой дороге
наконец-то, куда мне велели.

Буду тогда слушать, что услышу,
говорить, чтобы мне говорили:

– Вот, я ждал тебя – и дождался.
Знал всегда – и теперь узнаю.
Разве я что забуду? –

Каждый хочет, чтоб его узнали:
птицы бы к нему слетались,
умершие вставали живыми,
звери зверят приводили

и медленно катилось время,
как молния в раннем детстве.

Третья тетрадь

*Памяти бабушки
Дарьи Семеновны Седаковой*

1

– Пойдем, пойдем, моя радость,
пойдем с тобой по нашему саду,
поглядим, что сделалось на свете!

Подай ты мне, голубчик, руку,
принеси мою старую клюшку.
Пойдем, а то лето проходит.

Ничего, что я лежу в могиле, –
чего человек не забудет!
Из сада видно мелкую реку.
В реке видно каждую рыбу.

Что же я такое сотворила,
что свеча моя горит не ясно,
мигает, как глаза больные,
бессонные тусклые очи? –

Вспомню – много; забуду – еще больше.
Не хочу ни забывать, ни помнить.

Ах, много я на людей смотрела
и знаю странные вещи:
знаю, что душа – младенец,
младенец до последнего часа,

всему, всему она верит
и спит в разбойничьем вертепе.

Женская доля – это прялка,
как на старых надгробьях,
и зимняя ночь без рассказов.

Росла сиротой, старела вдовой,
потом сама себе постыла.

Падала с неба золотая нитка,
падала, земли не достала.
Что же так сердце ноет?

Из глубины океана
выплывала чудесная рыба,
несла она жемчужный перстень,
до берега не доплыла.
Что в груди, как вьюга, воет?

Крикнуть бы – нечем крикнуть,
как жалко прекрасную землю!

Кто родится в черный понедельник,
тот уже о счастье не думай:
хорошо, если так обойдется
под твоей пропащей звездой.

Родилась я в черный понедельник
между Рождеством и Крещеньем,
когда ходит старая стужа,
как медведь на липовой ходуле:
– Кто там, дескать, варит мое мясо,
кто мою шерсть прядет-мотает?
и мигали мелкие звезды,
одна другой неизвестней.

И мне снилось, как меня любили
и ни в чем мне не было отказа,
гребнем золотым чесали косы,
на серебряных санках возили
и читали из таинственной книги
слова, какие я забыла.

Как из глубокого колодца
или со звезды далекой
смотрит бабушка из каждой вещи:

– Ничего, ничего мы не знаем.
Что видели, сказать не можем.

Ходим, как две побирушки.
Не дадут – и на том спасибо.

Про других мы ничего не знаем.

Были бы мастера на свете,
выстроили бы часовню
над нашим целебным колодцем
вместо той, какую здесь взорвали ...

Было бы у меня усердье,
шила бы я тебе покровы:
или Николая Чудотворца,
или кого захочешь ...

Подсказал бы мне ангел слово,
милое, как вечерние звезды,
дорогое для ума и слуха,
все бы его повторяли
и знали бы твою надежду ... –

Ничего не надобно умершим,
ни дома, ни платья, ни слуха.
Ничего им от нас не надо.
Ничего, кроме всего на свете.

По дороге длинной, по дороге пыльной
шла я и горевала –
знаешь, как люди горюют?
Когда камень поплывет, как рыба,
тогда, говорю, и будет
для души моей жизнь и прощенье.

Поплывет себе камень, как лодка,
легкая при попутном ветре,
расправляя золотые ветрильца,
пестрые крапивницыны крылья,
золотыми веслами мелькая
по дальнему шумному морю.

И что было, того не будет.
Будет то, чего лучше не бывает.

Ты гори, невидимое пламя,
ничего мне другого не нужно.
Все другое у меня отнимут.
Не отнимут, так добром попросят.
Не попросят, так сама я брошу,
потому что скучно и страшно.

Как звезда, глядящая на ясли,
или в чаще малая сторожка,
на цепях почерневших качаясь,
ты гори, невидимое пламя.

Ты лампада, слёзы твое масло,
жестокое сердца сомненье,
улыбка того, кто уходит.

Ты гори, передавай известье
Спасителю, небесному Богу,
что Его на земле еще помнят,
не всё еще забыли.

(Молитва)

Обогрей, Господь, Твоих любимых –
сирот, больных, погорельцев.

Сделай за того, кто не может,
всё, что ему велели.

И умершим, Господи, умершим –
пусть грехи их вспыхнут, как солома,
сгорят и следа не оставят
ни в могиле, ни в высоком небе.

Ты – Господь чудес и обещаний.
Пусть все, что не чудо, сгорает.

1982

Прибавления к «Старым песням»

Посвящение

Помни, говорю я, помни,
помни, говорю и плачу:
все покинет, все переменится
и сама надежда убивает.

Океан не впадает в реку;
река не возвращается к истокам;
время никого не пощадило –

но я люблю тебя, как будто
все это было и бывает.

* * *

Плакал Адам, но его не простили.
И не позволили вернуться
туда, где мы только и живы:

– Хочешь своего, свое и получишь.
И что тебе делать такому
там, где сердце хочет, как Бог великий:
там, где сердце – сиянье и даренье.

* * *

Холод мира
кто-нибудь согреет.

Мертвое сердце
кто-нибудь поднимет.

Этих чудищ
кто-нибудь возьмет за руку,
как ошалевшего ребенка:

– Пойдем, я покажу тебе такое,
чего ты никогда не видел!

1990–1992

Из ранних стихов

* * *

Однажды, когда я умру до конца
и белый день опадет с лица,
услышу я, как спросонок:
по тонким дранкам заборов моих
бежит, спотыкаясь, веселый мотив:
их трогает палкой ребенок.

И каждая нота в мотиве таком
сама по себе и к тому же с ледком,
как буквы в Клину и Коломне...
И буду я думать: играй же, играй
про отчий мой край,
про чуждый мой край,
про то, что я знаю, а ты не узнай –
про то, что никак не припомню.

1967

* * *

*Я жизнь, которая хочет жить
в живом окружении
жизни, которая хочет жить.*

А. Швейцер

Я жизнь в порыве жить.
Из горла закипаю,
побегом выбегаю
к живым в порыве жить.

Сквозняк за рукавом.
Я с верхнего регистра
качу, цепляя искры
в растущий острый ком.

Играет угольком
погоня за гоненьем.
Я жизнь. Я непощенье
в порыве жить в живом.

1971

Липа

На тему Шуберта

1

Про елку-чернавку, про иву-голубку
и может, про липу одну
задумано сердце, и сытую губку
легко угнетает ко дну.

И темная выжимка ляжет поправкой
на долгой воде ключевой
для ивы-голубки, для елки-чернавки
и может, для липы одной.

2

Выпьем память дивной липы,
той, что нас пережила,
той, что локтем справедливым
нас отерла со стекла.

Это выход из преданья,
вход в имперский городок.
Это наши оправданья
заглушающий смычок.

1972

* * *

Неужели, Мария, только рамы скрипят,
только стекла болят и трепещут?
Если это не сад –
разреши мне назад,
в тишину, где задуманы вещи.

Если это не сад, если рамы скрипят
оттого, что темней не бывает,
если это не тот заповеданный сад,
где голодные дети у яблонь сидят
и надкушенный плод забывают,

где не видно ветвей,
но дыхание темней
и надежней лекарство ночное...
Я не знаю, Мария, болезни моей.
Это сад мой стоит надо мною.

1973

Гости в детстве

В двух шагах от притворенной
двери в детскую, за щель
шепчут стайкой оперенной
в крыльях высохших плащей.

Что ни скажут, позабудут.
Чем сулятся, не поймут.
Вместе выйдут, ливнем будут.
Только слова не возьмут.

И стоит оно слезами
изголовья моего:
словно ангелы сказали,
не забыв, для чего.

1973

* * *

Где тени над молью дежурят,
и живы еще за дверьми,
в широкую шубу чужую
меня до утра заверни.

Не знаю соседства пригожей
для жестких коленей и рук,
чем пыль меховая в прихожей
и медью обитый сундук.

Но слаще и меди, и пыли
под веками теплый свинец...
Кому меня здесь поручили?
Позволишь ли вспомнить, отец?

1973

Проклятый поэт

– Ты думаешь, блуждая по кругам
неравного страдания, я отдам
весь ад и грех за вечное забвенье?
Я был рожден, чтоб претворился срам
в божественную память поколенья.

Когда, один у матери моей,
я родился, погода у дверей
была подобна розе госпитальной.
И род услышал: Далее не смей,
здесь кровь нашла себе приют печальный.

Веками сотворенная печаль
пришлась по вкусу веку: *Fleurs du Mal*
залить слезами, пробежать страницы
в запретный сад, где высохла едва ль
одна слеза влюбленной ученицы.

И «К Лазарю» твердящие уста –
как Юлиан, приемлющий Христа,
когда проказа пахнет адской серой,
как на колени ставшая сестра
перед сестрой, *глумящейся над верой*.

Я рос, окутан нежностью двойной.
Ничто не обещало стать виной.
И только крови оглашенной речи
я выслушал, когда позвал *иной*,
и вышел на предложенную встречу.

.....

Но разве Тот, кто нам внушил, любя,
судьбу и тело, позабыв себя,

растопчет нас, как бабочку-поденку?
Не проклял, но глаза отвел, скорбя,
от злого и любимого ребенка.

И это было то, что ты зовешь
грехом и мукой, что внушает дрожь
и осуждение вечное пророчит,
когда ты чуждый голос разберешь
в многоголосье злаязычной ночи.

Но разве мука – то, что я терплю?
Мне кажется, я не раздевшись сплю,
и вот рожок сыграет пробуждение.
Умытым словом, горестным *люблю*
я с губ сотру ночное наваждение.

Гляди: неподалеку от села
лесник проснулся. У него дела:
простукивать и слушать бор еловый.
Он вглубь уходит, и земля тепла.
И сердцевина каждого ствола
звучит и плачет: Боже, я здорова!

1975

Плач

Вот она, строгая жизнь, посмотри, на прорехе прореха,
зеркало около губ, эхо, глядящее в эхо.
И сухие глаза закрывая, волосок к волоску подбирая,
трудные швы тербит и кивает, себя обрывая...
Как ты уйдешь от меня, по-другому живая?

Не покидай, говорю, я еще и еще залатаю.
Видишь, как сыплется ветхая ткань, как иголка дрожит
золотая...

– Что мне за дело? я слышу слова, но уже не сыщу
утешений,
только на цыпочки встану и шарю вверх,
и летят из распахнутой тени
стаи щебечущих, плачущих, беглых и пьющих растений...

1975

Памяти одной старухи

Евгении Пахаревой

О жизни линиялой, о блюдце разбитом, о лестнице шаткой...
А там, говорит, темнота, но она не мешает, она не мешает.
Нас мало кто видит, а мы наблюдаем украдкой,
как век коротают, как крошки в ладонь заматают.

Мне время язык развязало, но губ не разжало.
Так дай мне пройти, не тревожа жужжащего мрака.
Кто выберет слово, тот ахнет, и выдернет жало,
и сердце попросит земли, как пчелиная ранка.

А там, говорит, темнота, и не знают глаза человечьи,
какие птенцы под окном, и зачем они бьются
и просятся в окна, и сладко так, сладко щебечут
о лестнице шаткой, о жизни, о жизни, о блюдце.

1975

Три богини

По стране давнопрошедшей
ходит память и не знает,
кем назваться, как виниться
и в какую дверь стучать...

Спит ребенок в колыбели
пестрой, ивовой, плетеной,
и не спит его отец.
Говорит он: «Слушай, Хлоя,
снится мне или не снится?
Трех сиделок неизвестных
вижу я над колыбелью,
вижу ясно, как тебя».

И одна глядит открыто,
и глаза ее светлее,
чем бесценное оружие.

У другой живая влага
между веками: такая
в роднике, в овраге тайном,
где, судьбы своей не зная,
пьет подслеженный олень.

Третья глаз не поднимает,
непокрытая, как роза.
Сердце, сердце, что с тобой?
Сердце, или ты забыло,
как тебя в загробный погреб
уводили, и в слезах
ты твердило: если снова
позовут меня родиться,

я возьму судьбу другую.
Пусть она пройдет в работах
и в пастушеской одежде.
Пусть уйдет она без боли,
как улыбка с губ уходит ...

Для чего же ты велишь,
чтоб ребенок засмеялся
и нашел глазами третью
и слова проговорил:
Я тебе хочу служить,
золотая Афродита!

1975

Первая легенда

Святой Юлиан на охоте

Как олень обернулся к нему с человеческой речью,
кровь сказала: Прощай! я не знаю, как круг завершить
в этом теле жестоком. И сердце ответило: Легче
мне землей надышаться. Но Боже, как хочется жить!

Это жизнь, это страх, насеченный огнем на скрижали,
растворяет листву, и я слышу вверх над собой:
Я слабейшая ткань, на которой сердца испытали.
Я слабейшая ткань, заживленная болью живой.

1975

Из книги

Дикий шиповник Легенды и фантазии

1976–1978

Дикий шиповник

Ты развернешься в расширенном сердце страдания,
дикий шиповник,

о,
ранящий сад мироздания.

Дикий шиповник и белый, белее любого.

Тот, кто тебя назовет, переспорит Иова.

Я же молчу, исчезая в уме из любимого взгляда,
глаз не спуская и рук не снимая с ограды.

Дикий шиповник

идет, как садовник суровый,

не знающий страха,

с розой пунцовой,

со спрятанной раной участия под дикой рубахой.

Легенда вторая

Среди путей, врученных сердцу,
есть путь, пробитый в оны дни:
переселенцы, погорельцы
и все, кто ходит, как они, –

в груди удерживая душу,
одежду стягивая, шаг
твердя за шагом – чтоб не слушать
надежды кнут и свист в ушах.

Кто знал, что Бог – попутный ветер? –
ветров враждебная семья,
чтоб выпрямиться при ответе
и дрогнуть, противостоя,

и от любви на землю пасть,
и тело крепкое проклясть –
ларец, закрытый на земле.

И руки так они согнули,
как будто Богу протянули
вино в запаянном стекле:

– Открой же наконец, испробуй,
таков ли вкус его и вид,
как даль, настоенная злобой,
Тебя предчувствовать велит!

Selva selvaggia

Триптих из баллады, канцоны и баллады

I ПРОВОДЫ

Памяти Михаила Хинского

Из тайных слез, из их копилки тайной
как будто шар нам вынули хрустальный –

и человек в одежде поминальной
несет последнюю свечу.
И с тварью мелкокрылой и печальной
душа слетается к лучу.

– Ты думаешь, на этом повороте
я весь – разорванная связь? –
я в руку взял
то, что внутри вы жжете,
и вот несу, от света хоронясь.

И я не воск высокий покаянья,
не четверговую свечу,
но малый свет усилья и вниманья
несу туда, где быть хочу.

Промой же взгляд, любовью воспаленный,
и ты увидишь то, что я:
водой прекраснейшей, до щиколоток влюбленной
полна лесная колея.
Гляди же: за последнюю свободу,
через последнюю листву,

по просеке, по потайному ходу,
раздвинутому веществу,
ведут меня.
И, сколько сил хватило,
там этот свет еще горит,
и наших чувств темнеющую силу
он называет и благодарит.

II ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА

1

Иди, канцона, как тебе велят,
как в старину, когда еще умели,
одним поступком достигая цели,
ступить – и лечь.
И лечь к купели, у Овечьих Врат,
к родному бесноватому народу,
чтоб ангела, смущающего воду,
уже упавшим сердцем подстеречь.
И если впрямь нам вручена свобода –
ступай туда, где нечего беречь.
Мне часто снится этот шаг и путь,
как вещь, какую в детстве кто-нибудь
нам показал и вышел. И она
не названа, но кровью быть должна,
и с нею жить, и с ней держать ответ.
И путь смущенья и уничтоженья,
который, может быть, и я пройду –

но ты пройди, канцона. Если ж нет
в тебе терпенья – нет и нам прощенья,
и мы лепечем, как дитя в бреду,
и променяли хлеб на лебеду.

2

Да, как дитя, когда оно горит
в жару предновогодней скарлатины,
и будущего узкие картины
летят, как полоумный серпантин,
и в нем старуха. Шаркает, свистит,
внимательней, чем Гауф нас пугает,
глядит в котел и корень разгребают
и говорит притом: один, один...
Один ты, дух мой. Друг мой, прикипает
все варево для горьких именин.
Ты надо мной стоишь, как над котлом
с клубами легких, колотым стеклом
и кожей лягушечьей внутри,
и говоришь: Вставай или умри! –
но лучше встань. Узнаешь по пути,
что станет из рассыпанного звона
и почему он гибели искал.
Украдкой, раздвигая конфетти,
пойдем домой. Иди, моя канцона,
как кажется больному, что он встал,
и вот идет, хотя кругом – кристалл.

Идет, идет. Репей, болиголов,
трехлетняя крещенская крапива –
таким, как мы, такими, справедливо,
знакомые откроются луга
в сердцебиенье. Из твоих следов
по-птичьи пьет обогнанное нами –
и человеческими голосами,
напившись, делается. И тогда:
– Ты видишь, хлеб твой ест тебя, как пламя.
Как мы, ты не вернешься никуда.
Ты будешь с нами в спрятанном лесу.
Мы те, кого сморгнули, как слезу.
И наша смерть понравится тебе,
как старый ларчик в дорогой резьбе ...
Но флагеллант, когда последний кнут
он истрепал – последними глазами
он мысленный занес бы за плечом.
Так ты, моя канцона, встань. И тут
дорога будет вобрана зрачками
и выпрямится островерхий дом.
И кто нам говорил, что мы умрем?

И блудный сын проснулся у крыльца,
где лег вчера, не зная, как признаться,
что он еще не умер. Домочадцы
толпятся в сердце, в окнах, на крыльце!
Но кто, как сердце, около отца

к нему выходит? – и перед собою
он падает, как зеркало кривое,
и трогает морщины на лице:
не я ли жил, не я ли был водою
и сам себя отобразил в конце...
И милует, и гладит колыбель.
И кажется, и движется купель:
– Где б ни был ты – ты был, как луч в луче,
в горячем плаче на моем плече.
Так встань и слушай и скажи за мной:
Да, верю я, и знаю, и владею,
как кровь живая, замкнутым путем
горячей тьмы, где, плача над собою,
звуча: – Я предварю вас в Галилее! –
мы, как слепцы последние, идем –
как зренье, сделанное веществом.

5

Прощай, канцона. Гордому уму
не попадайся, чтоб не различили
худых одежд, нечесаных волос.
А друга встретишь – поклонись ему,
как Бог судил, как люди научили,
как сердце разломилось и срослось.
И поклонись, и выпрямись без слез.

III БАЛЛАДА ПРОДОЛЖЕНИЯ

И путник усталый на Бога роптал.

А. С. П.

В пустынных степях аравийской земли...

М. Ю. Л.

Он шел из Вифании в Иерусалим...

Б. Л. П.

И страшно и холодно стало в лесу.
Куда он зашел? И зачем на весу
судьбу его держат, короткую воду
в стакане безумном, в стекле из природы,
из слабости: вдруг раскатиться, как ртуть.
И шел он, и слезы боялся смахнуть.

И некогда было: еще за ольху –
и вырастет ветер, как город вверх,
и дрогнет душа от собачьего лая.
И слабая жизнь, у стола засыпая,
бренча в угольках, завывая в трубе,
опять, как к ребенку, нагнется к тебе.

Но прежде проснется, кто в доме уснул,
услышит, что голосом сделался гул,
и в окна посмотрит, и встретит у входа
с лицом, говорящим: Я ум и свобода,
я все, чего нет у тебя впереди.
Но хлеба не жалко, и ты заходи.

И долго, пока он еще исчезал,
и знал, что упал, и стакан расплескал,

как этого просит старик, пораженный
худым долголетьем, как хочет влюбленный
его расплескать, оставаясь вдвоем,
а он не просил, и не помнил о том. –

Но долго, пока он еще исчезал
и мимо него этот сброд проползал,
который и взгляда людского стыдится,
и в дуплах, и в норах, и в щелях плодится –
а здесь проползал, не стыдясь его глаз,
как будто он не жил и не был у нас. –

Так долго, пока он еще исчезал,
твердил он: Ты все, чего я не узнал,
ты ум и свобода, ты полное зрение,
я – обликом ставшее кровотечение.

И тут раздалось, обрывая его:
– Я ум и свобода, но ты – торжество.

Прощание

I

Мне снилось, как будто настало прощанье
и встало над нашей смущенной водой.
И зренье мешалось, как увещеванье
про большие беды над меньшей бедой,
про то, что прощанье – еще очертанье,
откуда-то ведомый очерк пустой.
Но тут, как кольцо из гадательной чаши,
свой облик достало из жизни молчащей,
и плача, смущая и глядя в нее,
стояло оно, как желанье мое.

II

Так зверю больному с окраин творенья,
из складок, в которые мы не глядим,
встряхнут и расправят живое виденье,
и детство второе нагнется над ним,
чтоб он, не заметив, простился с мученьем,
последним и первым желаньем учим.
И он темноту, словно шерсть, разгребает
и слышит, как только к соску припадает,
кормилицы новой сухие бока
и страшную сладость ее молока.

III

Я тоже из тех, кому больше не надо,
и буду стоять, пропадая из глаз,
стеклянной террасой из темного сада
любуюсь, как дождь, обливающий нас,
как полная сердца живая ограда
у стекол, пока еще свет не погас.
Ограда прощания и поминанья,
целебная ткань, облотившая знание.
И кто-то кивает, к окну подойдя,
лицу сновиденья, смущенья, дождя.

Странное путешествие

Так мы и ехали: то ли в слезах, то ли больно от белого
света.

Я поглядела кругом, чтоб увидеть, как видимо это.

– Так, как душа твоя ноет и зрение хочет разбить –
зеркало злое, кривое, учившее вас не-любить.

Так и узнала я, с кем мне положено быть.

Друг мой последний и первый, невиданный, лишь
напряженье
между желаньем и ужасом, только движенье
к гибели, гибнуть когда не желают и гибнут, ища
продолженья
в этом лице, – терпеливо оно, как растение.

Сердце сердец, погубивших себя и влюбленных
в спасенье.

Мы проезжали поля, и поля отражали друг друга,
листья из листьев летели, и круг выпрямлялся из круга.

Или свиданье стоит, обгоняющий сад,
где ты не видишь меня, но увидишь, как листья глядят,
слезы горят,
и само вещество поклянется,
что оно зрением было и в зренье вернется.

Поезд несется,
и стонет душа от обличий,
рвань раздвигая живую, как варварский, птичий,
страстный язык, чтобы вынуть разумное слово...
Ты ведь уже не свиданье, не разрывание круга цветного.

Буду я ехать и думать в своей пустоте предсердечной,
ехать, и ехать, и плакать о смерти моей бесконечной...

Побег блудного сына

Ты всё – как сердце после бега,
невиданное торжество,
ты жизнь, живая до того,
что стонешь, глядя из ковчега
в пучину гнева самого,
и требуешь уничтоженья:
движенья в ужасе, вверженья
в ликующее вещество.

И нет меня, когда не море
твоих внушений об одном.
И только ищущее горе
люблю я в имени твоём.
Другие в нём искали света.
Мне нет ни брата, ни совета.
Я не жалею ни о ком.

Пускай любовь по дому шарит,
и двери заперты на ключ –
мне чёрный сад в глаза ударит,
шатаясь, как фонарный луч.
И сад, как дух, когда горели
в огне, и землю клятвы ели,
и дух, как в древности, дремуч.

Ты жить велишь – а я не буду.
И ты зовешь – но я молчу.
О, смерть – переполненье чуда.
Отец, я ужаса хочу.
И, видимую отовсюду,
пусти ты душу, как Иуду,
идти по черному лучу!.. –

И, словно в глубине колодца,
все звезды вобрались в одну,
в одну, тяжелую от сходства.
Притягиваемую ко дну
так быстро, что она клянется,
что выстрадает – и вернется,
как тьму, съедая глубину
и отражая до конца
лицо влюбленного отца.

Легенда девятая

Отпевание монахини

Как темная и золотая рама
неописуемого полотна,
где ночь одна, перевитая анаграмма,
огромным именем полна –

так было, и она лежала
с лицом свободных покрывал,
и в твердом золоте любовь изображала,
что каждый ей принадлежал.

Не понимая продолженья,
переменяясь на виду,
вдруг вырезанные из темноты и пенья,
мы знали, что она в саду.

Куда когда-нибудь живое солнце входит,
там, сад сновидческий перебирая и даря,
она вниманье счастья переводит,
как луч ручного фонаря.

Пение

Заре Александровне Долухановой

Если воздух внести на руках, как ребенка грудного,
в зацветающий куст, к недающимся розам, к сурово
отвечающим веткам,

клянусь, мы увидеть должны
этот голос порфирный, глубокую кровь тишины.

Этот свет, принимающий схиму, и в образе ветхом
оживляющий кровь, и живущий по гибнущим веткам

горных роз, выбегающих из-за камней,
и, как к горю, привычных к свободе своей.

Что, не снится ли нам эта тьма, этот куст остролистый,
разговоры огня над паденьем реки каменистой...

– Так быстры мои воды, что ты не найдешь отраженья,
сколько в них ни гляди: даже тьмы драгоценной растение

в них не кажется тьмой – об одном она только и стонет:
кто же, кто нас поднимет, когда нас и небо уронит?

Кто безумного счастья, бессмертного счастья угрозу –
кто же кровь остановит ребенку, сорвавшему розу?

Кто пораненный воздух губами целебными ловит? –
так быстры эти воды,
что никто его не остановит...

Так быстры эти воды, что свет в них не кажется светом,
и кружится дыханье, и мы забываем об этом,

и еще повторяем,
минуя воздушные арки,
разговоры огня
над рекой, уносящей подарки.

* * *

Две книги я несу, безмерно уходя,
но не путем ожесточенья –
дорогой милости, явлением дождя,
пережиданием значенья.

И обе видящие, обе надо мной
летят и держат освещение:
как ларь летающий, как ящик потайной,
открыта тьма предназначенья.

* * *

Медленно будем идти и внимательно слушать.
Палка в землю стучит,
как в темные окна
дома, где рано ложатся:
эй, кто там живой, отоприте!
И, вздыхая, земля отвечает:
кто там,
кто там...

* * *

Мне часто снится смерть и предлагает
какую-то услугу. И когда,
не разобравшись, говорю я: нет! –
она кивает.

Лестница двойная
ведет ее туда, откуда свет. –
И странно мне и пусто...
Я думаю, что около нее
не проклятое место, где заводит
ребенка, и старуху, и вдовца,
а память, память.
Воздух из путей кратчайших,
падающих, как вода, –
но вверх.
И вот, не обращаясь к ней,
я улыбаюсь,
и рука уходит
в простую воду легкого лица.

* * *

Ни ангела, звучащего, как щель,
ни галилейскую свирель
ученика
и ни святого, в мире
пожившего, как струны на псалтири
под опытной рукой Твоих ужасных встреч,
я не могу от музыки отвлечь.

Она живет огромными кругами,
как тысяча колец с бессмертными камнями,
как восхищенье вещества –
и сердца нищего касается едва.

Но, падая и складками кивая,
как занавесь тяжелая, живая,
мне обещает думающий дух:
там все звучат, но Ты остался – слух.

* * *

Где-нибудь в углу запущенной болезни
можно наблюдать, удерживая плач,
как кидает свет, который не исчезнет,
золотой влюбленный мяч.

– Я люблю тебя, – я говорю. Но мимо,
шагом при больном, задерживая дух,
он идет с лицом неоценимым,
напряженным, словно слух.

Я люблю тебя, как прежде, на коленях,
я люблю твой одинокий путь.
Он гудит внутри и он огонь в поленьях.
он ведет, чтобы уснуть.

А глаза подымет – светлые, не так ли?
И, пересыпая фонари,
золотой иглой попадает в ганглий
мяч, летающий внутри.

Болезнь

1

Больной просыпался. Но раньше, чем он,
вставала огромная боль головная,
как бурю внутри протрубивший тритон.
И буря, со всех отзываясь сторон,
стояла и пела, глаза закрывая.

И где он едва успевал разглядеть
какую-то малость, частицу приметы –
глядела она. Поднимала, как плеть,
свой взгляд, никогда не любивший глядеть,
но видевший так, что кончались предметы.

И если ему удавалось помочь
предметам, захваченным той же болезнью,
он сам для себя представлялся точь-в-точь
героем, спасающим царскую дочь,
созвездием, спасшим другое созвездье.

Как будто прошел он семьсот ступеней,
на каждой по пленнице освобождая,
и вот подошел к колыбели своей
и сам себя выбрал, как вещь из вещей,
и тут же упал, эту вещь выпуская.

– Нет, это не свет был, нет, это не свет,
не то, что я помню и думаю помнить.
Я верю, что там, где меня уже нет,
я сам себя встречу, как чудный совет,
который уже не хочу не исполнить.

Я чувствую сна допотопную связь
со всеми, кто был и не выполнил дела.
Я сам исчезаю, и сам я из вас.
Я слушаю долгий и связный рассказ
в огромном раю глубочайшего тела.

Как в доме, который однажды открыт,
где, кажется, всё исчезает навеки –
но кто-то читает, и лампа горит,
и в будущем времени свет говорит,
и это ласкает закрытые веки.

О как хорошо тебе в сердце моем!
Как нет тебя в нем, как я помню и знаю
твой голос, живущий, как рухнувший дом,
и ветер, и ветер, гудящий о нем:
твоих коридоров гора ледяная.

Я думаю, учит болезнь, как никто,
ложиться на санки, летящие мимо,
в железную волю, в ее решето,
и дважды, и трижды исчезнуть за то,
что сердце, как золото, неисчислимо.

Горячей рукой моей жребий согрет –
пустейшая вещь и всегда пропадала! –
но вот ее вынут, и смотрят на свет,
и видят: любить тебя, где тебя нет, –
вот это удача, каких не бывало.

Путешествие волхвов

I

Тот, кто ехал так долго и так вдалеке,
просыпаясь, и вновь засыпая, и снясь
жизнью маленькой, тающей на языке
и вникающей в нас, как последняя сласть,
как открытая связь
от черты на руке
до звезды в широчайшей небесной реке,

II

тот и знает, как цель убывает в пути
и растет накопление бесценных примет,
как по узкому ходу в часах темноты
пробегают песком пересыпанный свет
и видения тысячи лет
из груди
выбегают, как воздух, и ждут впереди:

III

или некая книга во мраке цветном,
и сама – темнота, но удобна для глаз:
словно зренье, упавшее вместе с лучом,
наконец повзрослело, во тьме укрепясь,
и светясь
пробегают над древним письмом,
как по праздничным свечкам на древе густом;

IV

или зимняя степь представлялась одной
занавешенной спальней из темных зеркал,
где стоит скарлатина над детской тоской,
чтобы лампу на западе взгляд отыскал –
как кристалл,
преломлённый в слезах и цветной,
и у лампы сидят за работой ночной;

V

или, словно лицо приподняв над листом,
вещество открывало им весь произвол:
ясно зрящие камни с бессмертным зрачком
освещали подземного дерева ствол –
чтобы каждый прочел
о желание своем –
но ни тайны, ни радости не было в нем.

VI

Было только молчанье и путь без конца.
Минералов и звезд перерытый ларец
им наскучил давно. Как лицо без лица,
их измучил в лицо им глядящий конец:
словно в гряде колец
не нашарив кольца,
они шли уже прочь в окруженье конца.

VII

– О как сердце скучает, какая беда!
Ты, огонь положивший, как вещь меж вещей,
для чего меня вызвал и смотришь сюда?
Я не лучший из многого в бездне Твоей!
Пожалей
эту бедную жизнь! пожалей,
что она не любила себя никогда,
что звезда
нас несет и несет, как вода ...

VIII

И они были там, где хотели всегда.

Утро в саду

Это свет или куст? я его отвожу и стою.

Что держу я – как ветер, держу и почти не гляжу на
находку мою.

Это просто вода, это ветер, качающий свет.

Это блюдце воды, прочитающей расположение планет.

Никого со мной нет, этот свет ... наконец мы одни.

Пусть возьмут, как они, и пусть пьют и шумят, как они.

Азаровка

Сюита пейзажей

1 Родник

И первую – тем, кто толпится у входа,
из внутренних глаз улыбаясь тебе,
и пьет, и не выпьет влюбленную воду,
целебную воду любви о себе.

И свет троеручный жаленья и славы
и боли, полюбленной до конца,
стоит над тобой, и лучатся суставы
круглится ладонь, накрывая птенца.

И хочется мне измененную чашу
тебе поднести, баснословный фиал,
звучащий, как сердце промытое наше,
чтоб Моцарт Горация перепевал.

2 Поляна

Здесь было поместье, и липы вели
туда, где Эрасты читали Фобласов,
а ратное дело стояло вдали.
Как мелкие розы, аккорды цвели
и чудно дичали Расиновы фразы.

Виньетка в стране, где не рос виноград!
Но все же когда-нибудь это умели,

когда соловей задохнулся, как брат,
обрушивши в пруд неухоженный сад,
над Лизой, над лучшей из здешних Офелий.

3 В кустах

– Ведь и я, –
 это выйдет из слуха, из леса сухого,
 – жила я когда-то.
Дурочкой здешней была я, к работе негодной,
 и только что воду носила в родительский дом
 по ступеням богатым.

Так и жила я и воду чужую носила, а можно ли пить,
 не спросила.
Старая женщина с сердцем тяжелым, как капля на ягоде,
 вдруг надо мной наклонилась:
 – Пора, говорит, собирайся.

И повезли,
и колеса стучали по бревнам горбатым.

Плакало, капало, в доме скрипело, но мы-то уже
 не слышали:
мы медленно, медленно траву лечебную из темноты
 выбирали:
буквицу, донник, поменник...

4 Ивы

Серебряных, белых, зеленых, седых,
то выдохнувших, то вобравших дыхание,
но круглых и круглых над ходом воды,
над бегом и холодом и задыханием!

Другим и велят темноту приподнять,
но их никогда не попросят об этом –
всегдашних хранительниц хмурого дня,
кормилиц ненастного сильного света.

5 Холмы

Когда победитель, не веря себе,
черту переходит и смотрит снаружи,
он видит, что там еще дело в борьбе,
и бич состязания уже и уже.

Там скачки в честь вечного дня Ильина,
в честь внутренних гроз, образующих почву,
зажмутив глаза и разжав стремяна,
роняя с повозки небесную почву.

И внутренний к нам выбегает народ
и сыплет цветами изорванных денег
оттуда, где сёла, где мальчик идет,
рассеянно свищет и хлещет репейник,
где тысяча сот коробов высоты,
и хлещет надежда, и ломит запястье,

и падает дух, и роняет цветы,
сраженный обширностью замысла счастья.

6 *Высокий луг*

На медленном зное подруга лугов
и света подруга на медленном зное
лежит – и уходит лицо глубоко
в повисшее зеркало передвижное.

Пространство похоже на мысли больных:
оно за последние двери ни шагу:
– Я встану, я встану с цветов луговых,
но ты Расскажи мне, куда же я лягу ...

И сердцебиенье нагнется над ней,
головокруженье поклонится в ноги:
ты лежа летишь, ты летишь на спине,
летишь, как убогий на общем пороге.

7 *Деревня*

Как если ребенок тому, что живет,
захочет найти инструмент многоствольный,
и клавиши гладит, и просит, и бьет –
но всё не похоже; и вот, недовольный,
он крышку захлопнет и сам запоет, –
так эти дома выступают невольно
из темных деревьев, и ночь настает.

Они, как лампы, висят на холме.
Их, кажется, семь. Но безмерно спокоен
их счет и себя умножает в уме.
А тот, кто снаружи, считать недостоин.
Они безымянны, как имя одно.
В них мертвые входят, когда их попросят,
и воют собаки, но это выносят,
и видят луну, как большое окно.

Откуда посмотрят и сниться придут,
и масла в висячие чаши нальют.

8 *Вещая птица*

А там, далеко, где бормочет вода
нерусскую речь, и глаза человека
ни зги не увидят, и, рухнув туда,
глухим и немым возвращается эхо,

там вещая полночь по зарослям ищет,
и черный манок вынимает, и свищет –

и птица летит, выбираясь с трудом,
как будто ища позабытые двери.
Себя ли ей хочется бросить, как дом
свои времена обогнавшей потери?

Но, чтоб ей не сбиться, за нею идут
и черный фонарь перед нею несут.

– О Господи, Господи, тело мое
давно уже стало подобием щели,
в которую смотрят на дело свое
те силы, какие меня разглядели, –

и вот, поднимаясь и падая в нем,
я переполняю летающий дом!

9 *Лесная дорога*

И пахнут цветы тяжелей, чем всегда.
И, приоткрывая запретную створку,
лесная дорога уходит туда –
к жилищам невидимых, к птичьему Орку,
где речка поет с неразомкнутым ртом
про прошлую жизнь без названья и цели
и грешные души вздыхают о том,
что варят для нас приворотное зелье.

И столько пропавшей и тайной любви
замешено здесь на подпочвенной влаге,
что это, как кровь, отзовется в крови,
дорогу покажет и крикнет в овраге.

10 *Овраг*

И так уже страшно – и всё же туда,
немного помедлив, как жидкость в воронке,
опушек и просек цветная вода
сбегает, и гибнет, и ходит по кромке.

Там ягода яда глядит из куста
и просится в губы, и всех зазывает
в родильную тьму, где зачатые конца
сама высота по канве вышивает.

11 *Небо ночью*

И это преддверье Плеяд и Гиад,
цветной красоты, распростившейся с цветом.
По узкому ходу мы входим назад –
в иголку, трудящуюся над предметом.

Нырять в глубокую ткань и потом
сверкая над ней острием безупречным –
над черным шитьем, говорящим о том,
что нет никого, кто звездой не отмечен.

12 *Сад*

– И дом поджигают, а мы не горим.
И чашу расколют – а воздух сдвигает
и свет зажигает, где мрак несветим.
Одежду отнимут – а мы говорим,
и быстро за нами писцы поспевают.

И перья скрипят, и никто не устал
писать и описывать ту же победу,
и вишни дрожит золотой Гулистан,
и тополь стоит, как латыни стакан,
и яблоня-мать, молодая Ригведа.

Портрет художника на его картине

Вся красота, когда смеется небо,
и вздох земли, когда сбегает снег, –
все это ляжет вместе, как солома,
и отворится благодатный хлев.

Пускай на крыше ангелы танцуют
и камни драгоценные целуют
и убегают к верхнему углу
и с верхнего угла бегут, сверкая,
серебряные ветки рассыпая
и посохи меняя на бегу.

И пусть все это отойдет во мглу,
пусть отвернет смущенное лицо.

Внизу, как можжевелики при ветре,
друг друга будут дети обнимать,
а по бокам волы, волы – созвездья
трудящейся земли. Они ложатся,
как только что рожденные телята:
они невидимую чуют мать.

А пастухи, родители детей,
подходят медленно, по-деревенски.
Темным-темны их бедные одежды,
и эта тьма почти от нас идет
и потому почти приводит к нам,
как будто Лот, идущий из Содома ...

Но возле пастухов, оборотясь,
стоит художник. Sapienti sat.
Все исчезает, как висячий сад,
и он один стоит в степи пустой.

Его у горла сложенные руки
как будто держат припасенный дар –
но в этом сомневаются глаза.
Он более, чем мы, любим собой.
Он говорит, как свет глухонемой:

– Ты, мысль моя, ты, ясная Кифера,
ты, розы поднебесной привиденье,
ты, как припев, не впору моему
большому мраку: подойдя к нему,
ты повторяешь эти очертанья –
так в зеркале лицо мое встает,
и то, что там, себе его берет,
и, на себя накинув плоский образ,
томится в нем, как птица под платком, –
и, сбросив, не нуждается ни в ком.

Кому ты хочешь поднести охапки
цветов и улыбнувшихся вещей
и привести замученных детей,
чтобы они смеялись, как вода,
когда качнут наполненное блюдо,
и всё сложить у ног, и улыбнуться –
тот не Лаван, и с ним не делят стад.
Верни ему весь одичавший сад –
в цветной воде, в утешенных слезах
Содом, перерожденный на глазах, –
все будет ложь, и ничего как ложь.
Ты зеркало пустое принесешь.

Есть человек, и он как мир живой
и больше мира – и никто сюда
его не вызвал. Я стою, как вой.

Он – это то, что в зеркале всегда.
Он – это я, подуманный тобой.
И он стоит, как образ соляной,
и не идет за всеми.

Без меня
мой дар лежит на собственной могиле,
как вопленица на похоронах:
она как будто землю разрывает,
откидывает прозвища, приметы,
походку, обхождение, привычки,
она раскапывает свежий ход
в тяжелой глине...

и передает
тяжелый факел темноты
туда, где свет, как кровь, идет, –

весна идет,
и ясная Кифера,
и с нею в парусах архипелага,
и ранней сфере отвечает сфера,
и первой розой перевернут мрак –
и я иду, беднее, чем другие,
в одежде темной и темнее всех,
с больной улыбкой, как цветы больные,
как вздох земли, когда сбегает снег.

Легенда десятая

Иаков

Он быстро спал, как тот, кто взял
хороший посох – и идет
сказать о том, как он искал,
и не нашел, и снова ждет;
что он следит, как пыль стоит,
не окружая никого,
что небо, круглое на вид,
не свод, а куб – и он гремит,
и сердце есть внутри него.

Он спал и спал, зажав в руке
едва надкушенный кусок
пространств, гремящих вдалеке,
и тьмы, бегущей на восток.
Другие жили, как поток.
А он не мог сглотнуть глоток
от новостей – и спал, как мог,
спал исчезая, спал в песке,
спал, рассыпаясь, как песок, –
и Бог,
который ждать не мог,
изнемогая падал в нем,
охваченный внезапным сном.

Алатырь

Кто знает, не снилось ли это ему?
Воздвижение было, когда никому
нельзя оказаться в лесу – под ногами
трещала земля, как надломленный сук,
и гады лизали таинственный камень,
и камни другие росли, как бамбук.

И он просыпался. Но змеи спешили.
как только что снилось, одна за другой,
деревья тяжелыми ветками били,
держали его и мерещились – или
и то, что он жил и что все они жили,
казалось по стеклам бегущей водой?
И ныли суставы от мысли одной.

Но сердце голодное вдоволь накормит,
кто дальше пойдет в допотопную тьму,
и камень увидит, и ляжет у корня,
и счастье конца прикоснется к нему.

– Когда мне душа, как случайный прохожий,
кивнет и уходит под ливнем – смотри:
прекрасна земля Твоя, Господи Боже,
но лучше я выйду и буду внутри,
и буду, как дождь, и останусь надеждой
проснуться под звуки другого дождя,
и снова лежать, и расти над одеждой,
и спать бесконечно, и спать уходя...

Ненастная полночь в лесу бушевала,
и все, что хотело, сходило на нет,
стонала земля, и душа тосковала,
и камень кусками раскидывал свет...

И спать бесконечно, и спать уходя,
и спать, приближаясь к чудесному камню,
и спать, прикасаясь живыми руками
к живому сиянию ночного дождя!

Сказка

Так она лежит, и говорят,
что над ней горит, не убывая,
маленькая свечка восковая
и окно ее выходит в сад.

Странно, или сердце рождено,
чтобы так лежать? Веретено
на полу валяется и снится.
И она лежит, как тихий вход
в темный сад, откуда свет идет
и скрипит по древним половицам.

Глубоко, как сердце, глубоко,
как глубокий обморок, и глубже,
в глубине пропущенных веков
спи, голубка, долго, глубоко:
кто узнает, что идет снаружи?

Если это скрип и это свет,
понемногу восходящий кверху, –
сердце рождено, чтоб много лет
спать и не глядеть, как ходит свет
и за веткой отгибает ветку.

Никому не снится этот сон:
он себе и дом, и виноградник,
и дорога, по которой всадник
скачет к ней, и этот всадник – он.

– Много я прошу, но об одном
выслушай по милости огромной
и тогда разрушь меня, как дом,
непригодный для души бездомной:

это будет то, что я хочу.
Остальное бедно и обидно.
И задуй мне душу, как свечу,
при которой темноты не видно.

Сновидец

В той темноте, где иначе как чудом
не проберешься в крутящихся стенах,
там, где свеча, загораясь под спудом,
изнемогает в камнях драгоценных, –

многие встанут, и многие лица
преобразятся счастливой тревогой:
не обо мне ли? – но, выбрав сновидца,
дух возвращается прежней дорогой.

И начинаются длинные ходы,
своды, и лестницы, и галереи,
медленный шаг из глубокой породы,
где самородки и свечи горели.

Или, как ветер плодового сада
яблоком пахнет, уже погружаясь
в дикие степи, – так первого взгляда
я исполняю бессмертную жалость?

Тайный магнит, сердцевина преданья,
волны влечения, горящие в мире,
камни, и странствия, и предсказанья
подняты до неба в темном потире!

Падает воля, и тело не хочет,
и не увидит. Но скажет, кончая:
нет ничего, чего жизнь не пророчит,
только тебя в глубине означая!

* * *

– Как упавшую руку, я приподнимаю сиянье,
и как гибель стою, и ее золотые края,
переполнив, целую.

Ибо ваше занятие – вниманье.

Милость – замысел мой.

Счастье – одежда моя.

Старый поэт

Он ходит по комнате и замерзает.
Но странно подумать, как зябнет пальто.
И стужа за окнами напоминает
вино, о котором не помнит никто.

Глоток – и начнутся чудесные вещи:
откроется клетка, и птица дождя
посмотрит на комнату по-человечьи,
как будто страницу закапали свечи,
как будто кивают, в слезах уходя.

Тогда он и вспомнит, кто друг и виновник,
и гость, и хозяин, и горе его,
кто плакал, внутри обрывая шиповник,
и требовал всё, и не взял ничего.

Какое же это печальное дело!
Не слово, не слово, не тысяча слов,
а то, что душа, как теперь, холодела,
когда открывался цветок холодов.

– Прощай и запомни, прощай и создайся:
ничто никогда не достойно себя. –
И в облаке боли, во тьме постоянства
я вновь улыбнусь и кивну уходя.

Но ты повторяй: это то же и то же,
что было, и будет, и полно по край.
А я уже там, где никто не поможет.
Но ты повторяй,
повторяй,
повторяй...

Тристан и Изольда

1978–1982

*Светлой памяти
Владимира Ивановича Хвостина*

Вступление первое

Послушайте, добрые люди,
повесть о смерти и любви.
Послушайте, кто хочет,
ведь это у всех в крови.
Ведь сердце, как хлеба, ищет
и так благодарит,
когда кто-то убит,
и кто-то забыт,
и кто-то один, как мы.

Монашеское платье
сошьем себе из тьмы,
холодной воды попросим
и северной зимы:
она прекрасна, как топаз,
но с трещиной внутри.
Как белый топаз у самых глаз,
когда сидят облокотясь
и глядят на фонари.

Судьба похожа на судьбу
и больше ни на что:
ни на глядящую к нам даль,
ни на щит, ни на рог, ни на Грааль,
ни на то, что у ворот.
И кто это знает, тому не жаль,
что свет, как снег, пройдет.

О будь кем хочешь, душа моя,
но милосердна будь:
мы здесь с котомкой бытия
у выхода медлим – и вижу я,
что всем ужасен путь.

Тебе понравятся они
и весь рассказ о них.
Быть может, нас и нет давно,
но, как вода вымывает дно,
так мы, говоря, говорим одно:
послушайте живых!

Когда я начинаю речь,
мне кажется, я ловлю
одежды уходящий край,
и кажется, я говорю: Прощай,
не узнавай меня, но знай,
что я, как все, люблю.

И если это только тлен,
и если это в аду –
я на коленях у колен
стою и глаз не сведу.
И если дальше говорить,
глаза закрыть и слова забыть
и руки разжать в уме –
одежда будет говорить,
как кровь моя, во мне.

Я буду лгать, но не обрывай:
Я ведь знаю, что со мной,
я знаю, что руки мои в крови
и сердце под землей.

Но свет, который мне светом был
и третий свет надо мной носил
в стране небытия, –
был жизнью моей, и правдой был,
и больше мной, чем я.

Вступление второе

Где кто-то идет – там кто-то глядит
и думает о нем.
И этот взгляд, как дупло, открыт,
и в том дупле свеча горит
и стоит подводный дом.

А кто решил, что он один,
тот не знает ничего.
Он сам себе не господин –
и довольно про него.

Но странно, что поступок
уходит в глубину
и там живет, как Ланцелот,
и видит, что время над ним ведет
невысокую волну.

Не знаю, кто меня смущал
и чья во мне вина,
но жизнь коротка, но жизнь, мой друг, –
стеклянный подарок, упавший из рук.
А смерть длинна, как все вокруг,
а смерть длинна, длинна.

Одна вода у нее впереди,
и тысячу раз мне жаль,
что она должна и должна идти,
как будто сама – не даль.

И радость ей по пояс,
по щиколотку печаль.

Когда я засыпаю,

свой голос слышу я:
– Одна свеча в твоей руке,
любимая моя! –

одна свеча в ее руке,
повернутая вниз:
как будто подняли глаза –
и молча разошлись.

Вступление третье

Я северную арфу
последний раз возьму
и музыку слепую,
прощаясь, обниму:
я так любила этот лад,
этот свет, влюбленный в тьму.

Ничто не кончится собой,
как говорила ты, –
ни злом, ни ядом, ни клеветой,
ни раной, к сердцу привитой,
ни даже смертью молодой,
перекрестившей над собой
цветущие кусты.

Темны твои рассказы,
но вспыхивают вдруг,
как тысяча цветных камней
на тысяче гибких рук, –
и видишь: никого вокруг,
и только свет вокруг.

Попросим же, чтобы и нам
стоять, как свет кругом.
И будем строить дом из слез
о том, что сделать нам пришлось
и вспоминать потом.

А ты иди, Господь с тобой,
ты ешь свой хлеб, свой путь земной –
неизвестно куда, но прочь.
И луг тяжелый и цветной
за тобой задвигает ночь.

И если нас судьба вручит
несчастнейшей звезде –
дух веет, где захочет.
А мы живем везде.

1 Рыцари едут на турнир

И что ж, бывают времена,
бывает время таким,
что слышно, как бьется сердце земли
и вьется тонкий дым.
Сердцебиенье лесной земли
и славы тонкий дым.
И остальные скроются
по зарослям лесным.

Вот всадники как солнце,
их кони – из темноты,
из детской обиды копыта и копья,
из тайны их щиты.
К Пятидесятнице святой
они спешат на праздник свой,
там гибель розой молодой
на грудь упадет с высоты.

Ты помнишь эту розу,
глядящую на нас? –
мы прячем от нее глаза,
она не сводит глаз.

А тот, кто умер молодым,
и сам любил, и был любим,
он шел – и всё, что перед ним,
прикосновением одним
он сделал золотом живым
счастливей, чем Мидас.

И он теперь повсюду,
и он – тот самый сон,

который смотрят холм и склон
небес сияющих, как он,
прославленных, как он.

Но жизнь заросла, и лес заглох,
и трудно речь вести.
И трудно мне рукой своей
теней, и духов, и ветвей
завесу развести.

Кто в черном, кто в лиловом,
кто в алом и небесном,
они идут – и, как тогда,
сквозь прорези глядят туда,
где роза плещет, как вода,
в ковше преданья тесном.

2 Нищие идут по дорогам

Хочу я Господа любить,
как нищие Его.
Хочу по городам ходить
и Божьим именем просить,
и все узнать, и все забыть,
и как немой заговорить
о красоте Его.

Ты думаешь, стоит свеча
и пост – как тихий сад?
Но если сад – то в сад войдут
и веры, может, не найдут,
и свечи счастья не спрядут
и жалобно висят.

И потому ты дверь закрой
и ясный ум в земле зарой –
он прорастет, когда живой,
а сам лежи и жди.
И кто зовет – с любимым иди,
любого в дом к себе введи,
не разбирай и не гляди –
они ужасны все,
как червь на колесе.

А вдруг убьют?
пускай убьют:
тогда лекарство подадут
в растворе голубом.
А дом сожгут?
пускай сожгут.
Не твой же этот дом.

3 Пастух играет

В геральдическом саду
зацветает виноград.
Из окна кричат:
– Иду! –
и четырнадцать козлят
прыгают через дуду.

Прыгают через дуду
или скачут чрез свирель –
но пленительней зверей
никогда никто не видел.
Остальных Господь обидел.
А у этих шерстка злая –
словно бездна молодая
смотрит, дышит, шевелит.
Тоже сердце веселит.

У живого человека
сердце бедное темно.
Он внутри – всегда калека:
будь что будет – все равно.
Он не сядет с нами рядом,
обзаведясь таким нарядом,
чтобы цветущим виноградом
угощать своих козлят.

Как всегда ему велят.

4 Сын муз

И странные картины
в закрытые двери войдут,
найдут себе название
и дело мне найдут.
И будут разум мой простой
пересыпать, как песок морской,
то раскачают, как люльку,
то, как корзину, сплетут.
И спросят:
Что ты видишь?
И я скажу:
Я вижу,
как волны в берег бьют.

Как волны бьют, им нет конца,
высокая волна –
ларец для лучшего кольца
и погреб для вина.
Пускай свои виденья глотает глубина,
пускай себе гудит, как печь,
а вынесет она –

куда?
куда глаза глядят,
куда велят –
мой дух, куда?
откуда я знаю, куда.

Ведь бездна лучше, чем пастух,
пасет свои стада:
не видимые никому,
они избегают по холму,

играя, как звезда.
Их частый звон,
их млечный путь,
он разбегается, как ртуть,
и он бежит сюда –

затем, что беден наш народ и скуден наш рассказ,
затем, что всё сюда идет и мир забросил нас. –

Как бросил перстень Поликрат
тому, что суждено –
кто беден был,
а кто богат,
кто войны вел,
кто пас телят –
но драгоценнее стократ
одно летящее *назад*
мельчайшее зерно.

Возьми свой перстень, Поликрат,
не для того ты жил.
Кто больше всего забросил,
тот больше людям мил.
И в язвах черных, и в грехах
он – в закопченных очагах
все тот же жар и тот же блеск,
родных небес веселый треск.

Там волны бьют, им нет конца,
высокая волна –
ларец для лучшего кольца
и погреб для вина.

Когда свои видения глотает глубина,
мы скажем:
нечего терять –
и подтвердит она.

И мертвых не смущает
случайный бедный пыл –
они ему внушают
все то, что он забыл.
Протившись с мукою своей,
они толпятся у дверей,

с рассказами, с какими
обходят в Рождество, –
про золото и жемчуг,
про свет из ничего.

5 Смелый рыбак

Крестьянская песня

Слышишь, мама, какая-то птица поет,
будто бьет она в клетку, не ест и не пьет.

Мне говорил один рыбак,
когда я шла домой:
– Возьми себе цепь двойную,
возьми себе перстень мой,
ведь ночь коротка
и весна коротка
и многие лодки уносит река.

И, низко поклонившись,
сказала я ему:
– Возьму я цепь, мой господин,
а перстень не возьму:
ведь ночь коротка
и весна коротка
и многие лодки уносит река.

Ах, мама, все мне снится сон:
какой-то снег и дым,
и плачет грешная душа
пред ангелом святым –
ведь ночь коротка
и весна коротка
и многие лодки уносит река.

6 Раненый Тристан плывет в лодке

Великолепие горит
жемчужиною растворенной
в бутылки темной, засмоленной.
Но в глубине земных обид
она, как вал, заговорит,
как древний понт непокоренный.

Ты хочешь, смертная тоска,
вставать, как молы из тумана,
чтобы себя издалека
обнять руками океана.
Серебряною веткой Брана
и вещим криком тростника
смущая слух, века, века
ты изучаешь невозбранно:
как сладко ноющая рана,
жизнь на прощанье широка.

Мне нравится Тристан, когда
он прыгает из башни в море:
поступок этот – как звезда.
Мы только так избегнем горя,
отвагой чище, чем вода.
Мне нравится глубоких ран
кровь, украшающая ласку, –
что делать? я люблю развязку,
в которой слышен океан,
люблю ее любую маску.

Плыви, как раненый Тристан,
перебирая струны ожидания,
играя небесам, где бродит ураган,
игру свободного страданья.

И малая тоска героя
в тоске великой океана –
как деревушка под горою,
как дом, где спать ложатся рано,
а за окном гудит метель.

Метель глядит, как бледный зверь,
в тысячеокие ресницы,
как люди спят, а мастерицы
прядут всеобщую кудель,

и про колхидское руно
жужжит судьбы веретено.

– Его не будет.
– Все равно.

7 Утешная собачка

Прими, мой друг, устроенную чудно
собачку милую, вещицу красоты.
Она из ничего. Ее черты
суть радуги: надежные мосты
над речкой музыки нетрудной –
ее легко заучишь ты.
По ней плывет венок твой новый, непробудный –
бутоны свечек, факелов цветы.

Она похожа на гаданье,
когда стучат по головне:
оттуда искры вылетают,
их сосчитают,
но уже во сне,
когда
они
свободно расправляют
свои раскрашенные паруса,
но их не ветры подгоняют –
неведомые голоса.

То судна древние, гребные.
Их океаны винно-золотые
несут на утешенье нам
вдоль островов высоких и веселых,
для лучшей жизни припасенных,
по острым, ласковым волнам.

О чем шумит волна морская?
что nereida говорит?
как будто, рук не выпуская,
нас кто-нибудь благодарит:

– Ну, дальше, бедные скитальцы!
У жизни есть простое дно
и это – чистое, на пальцы
натянутое полотно.

Не зря мы ходим, как по дому,
по ненасытной глубине,
где шьет задумчивость по золотому,
а незабвенность пишет на волне
свои картины и названия:

вот мячик детства,
вот свиданье,
а это просто зимний день,
вот музыка, оправленная сканью
ночных кустов и деревень.
Заветный труд. Да ну его.
И дальше: липа.
Это липа у входа в город.
Рождество.

А вот – не видно ничего.
Но это лучшее, что видно.
Когда, как это ни обидно,
и нас не станет –
очевидно,
мы будем около него ...

Прими, мой друг, моей печали дар.
Ведь красота сильнее, чем сердце наше.
Она гадательная чаша,
невероятного прозрачный футляр.

8 Король на охоте

Куда ты, конь, несешь меня?
неси, куда угодно:
душа надежна, как броня,
а жизнь везде свободна

сама собой повелевать
и злыми псами затравлять,

восточным снадобьем целить
или недугом наделить,

медвежьим, лисьим молоком
себя выкармливать тайком

и меж любовниками лечь,
как безупречный меч.

И что же – странная мечта! –
передо мной она чиста?
не потому, что мне верна,
а потому, что глубина
неисто щима;
высота
непостижима;
за врата
айдовы войдя, назад
никто не выйдет, говорят.

О, воля женская груба,
в ней страха нет, она раба
упорная...
мой друг

олень,
беги, когда судьба
тебе уйти. Она груба
и знает всё и вдруг.

А слабость – дело наших рук.

9 Карлик гадает по звездам

Заодно о проказе

Проказа, целый ужас древний
вмещается в нее одну.
Само бессмертье, кажется, ко дну
идет, когда ее увидит:
неужто небо *так* обидит,
что человека человек,
как смерть свою, возненавидит?

Но, и невидимое глазу,
зло безобразней, чем проказа.

Ведь лучший человек несчастных посещает,
руками нежными их язвы очищает
и служит им, как золоту скупец:
они нажива для святых сердец.
Он их позор в себя вмещает,
как океан – пустой челнок,
качает
и перемещает
и делает, что просит Бог ...

Но злomu, злomu кто поможет,
когда он жизнь чужую гложет,
как пес – украденную кость?
зачем он звезды понимает?
они на части разнимают.
Другим отрадна эта гроздь.
А он в себя забит, как гвоздь.
Кто этикие гвозди вынимает?

Кто принесет ему лекарства
и у постели посидит?
Кто зависти или коварства
врач небрезгливый?
Разве стыд.
И карлик это понимает.

Он оттолкнул свои созвездья,
он требует себе возмездья

(содеянное нами зло
с таким же тайным наслаждением,
с каким когда-то проросло,
питается самосожжением):

– Я есть,
но пусть я буду создан
как то, чего на свете нет,
и ты мученья чистый свет
прочтешь по мне, как я по звездам! –

И вырывался он из мрака
к другим и новым небесам
из тьмы, рычащей, как собака,
и эта тьма была – он сам.

10 Ночь

*Тристан и Изольда встречаются
в лесу отшельника*

Любовь, охотница сердец
натягивает лук.
Как часто мне казалось,
что мир – короткий звук:
похожий на мешок худой,
набитый огненной крупой,
и на прицельный круг ...

Сквозь изгородь из роз просовывая руку,
прекраснейший рассказ воспитывает муку,

которой слаще нет: огромный алмадин
по листьям катится, один и не один.

Что более всего наш разум восхищает?
Что обещает то, что разум запрещает:

душа себя бежит, она нашла пример
в тебе, из веи в весь бегущий Агасфер...

Скрываясь от своей единственной отрады,
от крови на шипах таинственной ограды,

не сласти я хочу: мой ум ее бежит,
другого требуя, как этот Вечный Жид...

Но есть у нас рассказ, где мука роковая
шумит-волнуется, как липа вековая.

Смерть – госпожу свою ветвями осеня,
их ночь огромная из сердцевины дня

растет и говорит, что жизни не хватает,
что жизни мало жить. Она себя хватает

над самой пропастью – но, разлетясь в куски,
срастется наконец под действием тоски.

Итак, они в лесу друг друга обнимают.
Пес охраняет их, а голод подгоняет

к концу. И в том лесу, где гнал их страх ревнивый,
отшельник обитал, как жаворонок над нивой.

Он их кореньями и медом угостил
и с подаянием чудесным отпустил –

как погорельцев двух, сбиравших на пожар.
И занялся собой. Имел он странный дар:

ему являлся вдруг в сердечной высоте
Владыка Радости, висящий на Кресте.

11 Мельница шумит

О счастье, ты простая,
простая колыбель,
ты лыковая люлька,
раскачанная ель.
И если мы погибнем,
ты будешь наша цель.
Как каждому в мире,
мне светит досель
под дверью закрытой
горящая щель.

О, жизнь ничего не значит.
О, разум, как сердце, болит.
Вдали ребенок плачет
и мельница шумит.
То слуха власяница
и тонкий хлебный прах.
Зерно кричит, как птица,
в тяжелых жерновах.
И голос один, одинокий, простой,
беседует с Вesperом, первой звездой.

– О Господи мой Боже,
прости меня, прости.
И, если можно, сердце
на волю отпусти –
забытым и никчемным,
не нужным никому,
по лестницам огромным
спускаться в широкую тьму
и бросить жизнь, как шар золотой,
невидимый уму.

Где можно исчезнуть, где светит досель
под дверью закрытой горящая щель.

Скажи, моя отрада,
зачем на свете жить? –
услышать плач ребенка
и звездам послужить.
И звезды смотрят из своих
пещер или пучин:
должно быть, это царский сын,
он тоже ждет, и он один,
он, как они, один.

И некая странная сила,
как подо льдом вода,
глядела *сквозь* светила,
глядящие сюда.

И облик ее, одинокий, пустой,
окажется первой и лучшей звездой.

12 Отшельник говорит

– Да сохранит тебя Господь,
Который всех хранит.
В пустой и грубой жизни,
как в поле, клад зарыт.
И дерево над кладом
о счастье говорит.

И летающие птицы –
глубокого неба поклон –
умеют наполнить глазницы
чудесным молоком:
о, можно не думать ни о ком
и не забыть ни о ком.

Я выбираю образ,
похожий на меня:
на скрип ночного леса,
на шум ненастного дня,
на путь, где кто-нибудь идет
и видит, как перед ним плывет
нечаянный и шаткий плот
последнего огня.

Да сохранит тебя Господь,
читающий сердца,
в унынье, в безобразье
и в пропасти конца –
в недостижимом стекле
закрытого ларца.
Где, как ребенок, плачет
простое бытие,
да сохранит тебя Господь
как золото Свое!

Из книги

Ворота. Окна. Арки

1979–1983

Давид поет Саулу

Да, мой господин, и душа для души –
не врач и не умная стража
(ты слышишь, как струны мои хороши?),
не мать, не сестра, а селенье в глуши
и долгая зимняя пряжа.

Холодное время, не видно огней,
темно и утешиться нечем.
Душа твоя плачет о множестве дней,
о тайне своей и о шуме морей.
Есть многие лучше, но пусть за моей
она проведет этот вечер.

И что человек, что его берегут? –
гнездо разоренья и стона.
Зачем его птицы небесные вьют?
Я видел, как прут заплетается в прут.
И знаешь ли, царь? не лекарство, а труд –
душа для души, и протянется тут,
как мужи воюют, как жены прядут
руно из времен Гедеона.

Какая печаль, о, какая печаль,
какое обилие печали!
Ты видишь мою безответную даль,
где я, как убитый, лежу, и едва ль
кто знает меня и кому-нибудь жаль,
что я променяю себя на печаль,
что я умираю вначале.

И как я люблю эту гибель мою,
болезнь моего песнопенья!

Как пленник, захваченный в быстром бою,
считает в ему неизвестном краю
знакомые звезды – так я узнаю
картину созвездия, гибель мою,
чье имя – как благословенье.

Ты знаешь, мы смерти хотим, господин,
мы все. И верней, чем другие,
я слышу: невидим и непобедим
сей внутренний ветер. Мы всё отдадим
за эту равнину, куда ни один
еще не дошел, – и, дожив до седин,
мы просим о ней, как грудные.

Ты видел, как это бывает, когда
ребенок, еще бессловесный,
поднимется ночью – и смотрит туда,
куда не глядят, не уйдя без следа,
шатаясь и плача. Какая звезда
его вызывает? какая дуда
каких заклинателей? –

Вечное да
такого пространства, что, царь мой, тогда
уже ничего – ни стыда, ни суда,
ни милости даже: оттуда сюда
мы вынесли всё, и вошли. И вода
несет, и внушает, и знает, куда...

Ни тайны, ни птицы небесной.

Семь стихотворений

1

Печаль таинственна, и сила глубока.
Семь тысяч лет в какой-нибудь долине
она лежала, и когтями ледника
ее меняли и ценили.

А то поднимется, как полный водоем, –
и листьям хочется сознания.
И хочется глядеть в неосвещенный дом,
где спит, как ливень, мирозданье.

Ни морем, ни древом, ни крепкой звездой,
ни ночью глубокой, ни днем превеликим –
ничем не утешится разум земной,
но только любовью отца и владыки.

Ты, слово мое, как сады в глубине,
ты, слава моя, как сады и ограды,
как может больной поклониться земле –
тому, чего нет, чего больше не надо.

Блудный сын возвратится, Иосиф придет в Ханаан
молодым, как всегда, и прекрасным сновидцем.
И вода глубины, и огонь перевернутых стран
снова будущим будут и в будущем будут двоиться.

– Поднимись, блудный сын, ты забыл, как живут на земле.
Погляди, как малейшее мир победит и пребудет.
И вода есть зола неизвестных огней, и в золе
держит наш Господин наше счастье и мертвого будит.

Я не могу подумать о тебе,
чтобы меня не поразило горе.
И странно это – почему?

Есть, говорят, сверхтяжелые звезды.
Кажется мне, что любовь тяжела,
как будто падает.
Она всегда
как будто падает –

и не как лист на воду
и не как камень с высоты –
нет, как разумнейшее существо,
лицом, ладонями, локтями
сползая по какой-то кладке...

Всегда есть шаг, всегда есть ход, всегда есть путь.
Да не сдадимся низким целям.
Так реки, падая, твердят ущельям:
всегда есть шаг,
всегда есть ход,
всегда есть путь.

Как труп, лежу я где-нибудь –
или в начале наважденья?
Но кто попробует? Кто вытерпит виденье,
глядящее в пустую грудь?
Всегда есть шаг, всегда есть ход, всегда есть путь.

Когда настанет час,
и молот взмахнутый сойдется с наковальней,
и позовут людей от родины печальной,
какого от какой, какого от кого,
от сна, от палача, от сердца своего,
от всей немилости.
И мученики встанут
и скажут: Не зачисли им за грех!
Мы точно знаем, что они не знают,
что делают.
Кто это знает?
кто знает то, что больше всех?

Как молнии мгновенные деревья
и разветвленные, как дуб,
зло падает, уничтожая ум.
Кто, кто поможет им не жечь, не мучить,
не убивать?

Я так люблю
эти дома, принадлежащие молитве,
эти огни, принадлежащие любви,
и в долгом плаванье Часов или Вечерни
голос, как голубь с известием земли:

– Ну поднимись, несчастное создание,
и поделись со мной, чем Бог тебе подаст;
мы вместе так и так,
и на руках страданья,
как дитя простое, укачают нас.

Горная ода

I

Где высота сама себя играет
на маленьком органе деревенском
и на глазах лазурь изображает,
но голосом не взрослым и не женским –
а где-нибудь в долине удивленной
водой, перебегающей повсюду,
Моравии, Баварии зеленой
перемывая чистую посуду,
там в каменный кувшин с колоколами
упрятано готическое пламя.

II

Пусть готика, как это ей природно,
направит вверх вектор вертикали,
чтоб там она закончилась свободно,
как некогда преданье о Граале,
и копьеносцы и каменотесы
на острие иглки безвоздушной
вдруг задохнулись от надежды тесной
и не коснулись чаши невозможной –
а небо только падает глубоко,
как тот, кто спит на берегу потока.

III

Он спит и управляет сновиденьем,
как плоскодонной лодкой на порогах,
и звук, приподнимаясь над селеньем,
кончается в таких же одиноких,
и все они – его земля родная,
и выбрать невозможно, и не нужно,
переправляя их и пропадая
в существовании, в воде воздушной,
где, говорят, мы жили, как другие,
как снег в горах, как реки в летаргии.

IV

Скажи, скажи на языке Кирилла
или на том, какого не бывало,
как снисхождение с нами говорило
и небо прятало, как покрывало.
Есть имена, похожие на чины.
Они живут, как колокол в ущелье,
как непонятной верности причины
и как игра, не знающая цели,
когда она летит одушевленно
на свет сторожевого легиона.

V

Не родственный ни близости, ни дали,
их колокол, раскачиваясь в нише,
есть миг, когда они существовали, –
и в этот миг они спускались ниже.
То Руфью отзываясь, то Рахилью,
глядела жизнь, как рядом пировали,
не зная, для чего ее растили
и где конец ее чужой печали.
Другим хотелось много, ей – едва ли:
лечь и лежать, и чтоб ее назвали.

VI

Лежать, чтобы ее покоил голос,
который наклоняет котловины
и выдувает полости, и полость
в вино преображает сердцевины.
Чтобы одно звучание носило,
как крепкое крыло возникновенья,
над пропастью без имени и силы,
но страшного, живого тяготенья.
и время шло, и время было слово,
не называя ничего другого.

VII

Чтоб горы – драгоценная равнина,
увиденная оком недреманным
взволнованных озер, стоящих *выну*
над тем многоочитым океаном, –
глядели, как она была любима
и как она спускалась по ступеням,
по каменным порогам, по долинам
с тысячекратно узанным терпеньем.
И, наблюдая, как она терялась,
сама земля без меры повторялась.

VIII

И снился ей какой-то сон случайный,
почти печальный сон исчезновенья,
неведомо печальный. Но печали
он сразу же задумал удвоенье:
как будто дети, умершие рано,
как над ручьем, играющим в апреле,
стояли над своей могилой странной
и ни жалеть, ни плакать не умели.
И отраженных обликов мученье
им было неизвестно, как ученье.

IX

И так они стояли и молчали.
И только брали из случайной смерти
все то, что им напрасно обещали,
чего никто не пробовал на свете –
но каждый ждал. И вынынчил, как чадо,
и, плача, передал его за гробью:
– Я только тень, но большего не надо.
Подобие, влюбленное в подобье.
И эту тень, как чашку с белым светом,
возьми себе, и позабудь об этом.

X

Не на такой ли круглой вертикали
мне дар передавали безвозмездный,
и золотом, как взглядом, отыскивали
и разрешили от надежды тесной?
Не тайны, и не силы, и не бездну,
мне показали дерево простое –
и странно было знать, что я исчезну,
когда листва заговорит с листвою,
и буду спать в корнях его глубоких,
как спят деревья при живых потоках.

XI

Все, что исчезнет, будет как дорога.
И лежя мы уходим в путь невольный,
где круглая, как яблоко, тревога
катается в котомке колокольной:
скажи, скажи, на языке награды,
на языке, спускавшемся в загробье:
есть дудка, открывающая клады, –
звучащее подобие пощады –
и клад, и смысл, и образец подобья.

Маленькое посвящение

Владимиру Ивановичу Хвостину

Бесконечное скажут поэты.
Живописец напишет конец.
Но о том, что не то и не это,
из-за двери тяжелого света
наблюдают больной и певец.

И, конечно, он легкого легче.
И, конечно, он тоже болит,
нашей жизни и правды орешник:
duftig, duftig... du Nachste... du Licht... –

Будто вдруг непомерные двери
растворяя у всех на глазах –
и навстречу, как розы в партере, –
время, время в бессмертных слезах.

Ночное шитье

Тяне

Уж звездное небо уносит на запад
и Кассиопеи бледнеет орлица –
вот-вот пропадет, но, как вышивки раппорт,
желает опять и опять повториться.
Ну что же, душа? что ты, спишь, как сурок?
Пора исполнять вдохновенья урок.

Бери свои иглы, бери свои рядна,
натягивай страсти на старые кросна –
гляди, как летает челнок Ариадны
в твоём лабиринте пред чудищем грозным.
Нам нужен, ты знаешь, рушник или холст –
скрипучий, прекрасный, сверкающий мост.

О, что бы там ни было, что ни случится,
я звездного неба люблю колесницы,
возниц и драконов, везущих по спице
все волосы света и ока зеницы,
блистание нитки, летящей в иглу,
и посвист мышинный в запечном углу.

Как древний герой, выполняя задание,
из сада мы вынесем яблоки ночи
и вышьем, и выткем свое мирозданье –
чулан, лабиринт, мышеловку, короче –
и страшный, и душный его коридор,
колодезь, ведущий в сокровища гор.

Так что же я сделаю с перстью земною,
пока еще лучшее солнце не выйдет?
Мы выткем то небо, что ходит за мною,

откуда нас души любимые видят.
И сердце мое, как печные огни,
своей кочергой разгребают они.

Кузнечик и сверчок

The poetry of Earth is never dead.

John Keats

Поэзия земли не умирает.
И здесь, на Севере, когда повалит снег,
кузнечик замолчит. А вьюга заиграет –
и забренчит сверчок, ослепший человек.
Но ум его проворен, как рапира.
Всегда настроена его сухая лира,
натянут важный волосок.
Среди невидимого пира –
он тоже гость, он Демодок.
И словно целый луг забрался на шесток.

Поэзия земли не так богата:
ребенок малый да старик худой,
кузнечик и сверчок откуда-то куда-то
бредут по лестнице одной –
и путь огромен, как заплата
на всей прорехе слуховой.

Гремя сердечками пустыми,
там ножницами завитыми
всё щелкают над гривами златыми
коней нездешних, молодых –
и в пустоту стучат сравненья их.
Но хватит и того, кто в трубах завывает,
кто бледные глаза из вьюги поднимает,
кто луг обходит на заре
и серебро свое теряет –
и всё находит в их последнем серебре.

Поэзия земли не умирает,
но если знает, что умрет,
челнок надежный выбирает,
бросает весла и плывет –
и что бы дальше ни случилось,
надежда рухнула вполне
и потому не разучилась
летать по слуховой волне.

Скажи мне, что под небесами
любезнее любимым небесам,
чем плыть с открытыми глазами
на дне, как раненый Тристан?..

Поэзия земли – отважнейшая скука.
На наковаленках таинственного звука
кузнечик и сверчок сковали океан.

Сельское кладбище

Мы приезжали на велосипедах к погосту восемнадцатого века, мы не клялись, но взрослые не знали, и это было лучше каждый раз, где двигались церковные деревья вдоль неба, как ненынешние реки, их тени расходились и сходились и обрывали разговор при нас.

Чугунный ангел свиток или факел придерживал: трех девочек старинных он сон оберегал и нам велел не забывать, что времени немного и что при дифтеритах и ангилах шаг слишком явен, голос слишком смел.

Как сердце любит странную надежду. Как ветер жизни, страшный для героя, качает в колыбельной колыбели. Как сердце любит память ни о чем, нигде, никак... Неуловимым взглядом обмениваешься себе с сестрою, как этот ствол, едва мы отвернемся, как белый луч с белёным кирпичом.

Ты, связь времен, и если ты бываешь (а разве нет?), ты сон выздоровленья, ты медленно течешь и долго видишь детей перед могилами детей.
– Пойдем, пора. – Постой, еще немного. Я встану, если нужно, на колени, я не боюсь, когда ты разгибаешь свой свиток круглый до скончанья дней.

Осветит ли мне путь чугунный факел? Заговорит неговорящий голос? Я вижу, как нас видят, отстраняя, чтоб лучше разглядеть последний раз... Никто не знает берега другого. Никто не вынет драгоценный образ из этой неизвестной колыбели. Никто, никто не разуверит нас...

В психбольнице

Идет, идет и думает: куда,
конечно, если так, но у кого.
А ничего, увидим.

Я тебе!

– Ой, мамочка, не бей меня, не бей,
я не нарочно! –

и давай подол
ловить, а поздно:
мать ушла,
сидит в углу, качает младшую,
а рядом котик небольшой.
Хороший котик, заberi-ка деток.
Ты покачаешь, люди отдохнут...
Вот я тебе!

Усни, мой ангелок... –

Но глубина ее ужасной жизни
не засыпала на руках.
Она подумала – и встала –
разжала руки
и пошла.
И как земля, в земле лежала.

В винном отделе

В. Котову

Отец, изъеденный похмельем,
стучал стеклом и серебром.
Другие пьяницы шумели
и пахли мертвым табаком,
Подвал напоминал ущелье,
откуда небо кажется стеклом.

Ребенок в пурпурной каталке,
в багряных язвах аллергии
сидел, как чучело страдания,
текущего через другие
бессмысленные воды...

Предметы плавали, не достигая дна
расплавленных и слабых глаз.
А там, на дне, труба гудела
и ветер выл. Он был
Больной Король,
хозяин зданья,
где раз в тысячелетие и реже
под музыки нездешнее бряцанье
за святотатственным Копьем
несут болезненную Чашу.
Где плоть, как разум, изнывает.
Зачем, зачем? – труба взывает
из глаз его полузакрытых, –
зачем, доколе будет смерть лакать
живую кровь? зачем несправедливость
мне сердце обвивает, как питон?
Я не Геракл, я сам, как сон.
И сам из-под пяты взвиваюсь,

над язвами Земли Святой
безумным терном обвиваюсь,

когда неслышными шагами
под музыку, идущую кругами,
за святотатственным Копьем
несут болезненную Чашу –

и, погибая, сердце наше
мы сами, словно оцет, пьем!

Зачем, зачем! – труба взывает, –
мне жизнь, как печень, разрывают?
доколе мне в скале гореть?
доколе будет смерть гудеть?
и с искрами свистеть, взлетая,
земля, от крови золотая?
и все, что было, будет впредь...

Лицинию

Л. Евдокимовой

Помнишь, апрель наступал? а вот уж в его середине,
как в морском путешествии – ветра свист и вещие рощи.
Но как мне хочется жить! Это просто нелепо, Лициний,
словно пробку топить в океане погибели общей.

На корабле государства мы едем сдыхать от позора.
Ибо кому же охота железо лизать на морозе?
Ибо не небо – земля, ибо и завтра – не скоро,
а сегодня шумит. А сегодня – как старец Тиресий.

Старый образ бабочки и свечи принесу я из трюма:
нужно мне поглядеть сильной смерти крылья и корни.
Там и пойдет океан причитать, как слепец, сочиняющий думу
перед жадным народом, который его не накормит.

О океан-мотылек! кто сложил, кто раскрыл твои крылья?
кто ложками линий
вычерпал сердце мое так, что там ничего не осталось?
Вот как живет океан. Кто живет, Расскажи мне, Лициний,
в золотой середине свечи, чтоб она и в конце улыбалась?

На смерть Владимира Ивановича Хвостина

1

Кончен труд, мой бедный, кончен труд
счастья и надежды: безупречный
труд любви. И что же, нас сотрут,
как рисунок мелом? Дар сердечный,
обаянье будущего, Млечный
точный путь, которым нас ведут ...
Или не доводят? Друг мой вечный,
или вечность – только тут?

Мужество есть лучшее, чем жизнь.
Есть такое удивленье,
для которого мы родились.
Как в порыве первого движенья,
он лежит – и переносит жизнь
на руках благословенья.

Как ребенка на руках,
вынесет через горящий прах
исцеление и пенье,
жизнь, укорененную в веках.
Спит, как будто рад, что в этих снах –
окончательное подтвержденье.

В пустыне жизни... Что я говорю,
в какой пустыне? В освещенном доме,
где сходятся друзья и говорят
о том, что следует сказать. Другое
и так звучит, и так само себе,
как дерево из-за стекла, кивает.

В саду у дружелюбных, благотворных,
печальных роз: их легкая душа
цветет в Элизии, а здесь не знает,
как выглянуть из тесных лепестков,
как показать цветенье без причины
и музыку, разредившую звук,
как рассказать о том, что будет дальше,
что лучшее всего...

В саду у роз,
в гостях у всех – и все-таки в пустыне,
в пустыне нашей жизни, в худобе
ее несчастной, никому не видной, –
Вы были больше, чем я расскажу.

Ни разум мой и ни глухой язык,
я знаю, никогда не прикоснутся
к тому, чего хотят. Не в этом дело.
Мы все, мой друг, достойны сострадания
хотя бы за попытку. Кто нас создал,
тот скажет, почему мы таковы,
и сделает, какими пожелает.

А если бы не так... Найти места
неслышной музыки: ее созвездья, цепи,
горящие переплетенья счастья,
в которой эта музыка сошлась,
как в разрешение – вся большая пьеса,
доигранная. Долгая педаль.

Глубокая, покойная рука
лежала б сильно, впитывая всё
из клавишей... Да, это было б лучше,
чем жестяные жалобы разлуки
и совести больной... Я так боюсь.
Но правда ведь, какая-то неправда
в таких стенаньях? Следует конец
нести на свет руками утешенья
и, как в меха, в бесценное создание
раскаянье закутать, чтоб оно
не коченело – бедное, чужое...
А шло себе и шло, как красота,
мелодия из милости и силы.

Вы видите, я повторяю Вас...

На смерть Леонида Губанова

До свиданья, друг мой, до свиданья.
С. Есенин

Или новость – смерть, и мы не скажем сами:
все другое *больше* не с руки?
Разве не конец, летящий с бубенцами,
составляет звук строки?

Самый неразумный вслушивался в это –
с колокольчиком вдали.
Потому что, Леня, дар поэта
так отраден для земли.

Кто среди сокровищ тяжких, страстных
ларчик восхищенья выбрал наугад?
Кто еще похвалит мир прекрасный,
где нас топят, как котят?

Как эквилибрист-лунатик, засыпая,
преступает через естество,
знаешь, через что я преступаю?
Чрез ненужность ничего.

До свиданья, Леня. Тройкой из ромansa
пусть хоть целый мир летит в распыл,
ничего не страшно. Нужно постараться.
Быть не может, чтобы Бог забыл.

Золотая труба

Ритм Заболоцкого

Над просохшими крышами
и среди луговой худобы
в ожиданье неслышимой
объявляющей счастье трубы

все колеблется, маятся
и готово на юг, на восток,
очумев от невнятицы –
то хлопок, то свисток, то щелчок.

Но уж – древняя ящерка
с золотым светоглазом во лбу –
выползает мать-мачеха,
освещающая судьбу:

погляди, поле глыбами, скрепами
смотрит вверх, словно вниз
и крестьянскими требами
вдруг себя узнаёт. Объявись!

Объявись, ибо сладко, я думаю,
разнестись, как сверкающий дым,
за ослепшей фортуною,
за ее колесом молодым –

что ослепнет, то, друг мой, и светится,
то и мчит, как ковчег
над ковшами Медведицы, –
и скорей, чем поймет человек.

Там-то силой сверхопытной –
соловей, филомела, судьба –
вся из жизни растоптанной,
объявись, золотая труба!

Сказка, в которой почти ничего не происходит

1

Для кого приходит радость,
для кого приходит горе –
ни тому и ни другому
мы не будем удивляться
и завидовать не будем.

Многошумною волною,
многоцветным океаном,
покрывалом долготканым
всех когда-нибудь покроют.

Засыпающему снится
жаркий полдень, плоский камень
и заваленный колодец.
Камень нужно отложить.

– Что-то я такое помню, –
говорит он, улыбаясь, –
овцы, солнце и девица,
угоняющая стадо...
То ли это жизнь такая,
то ли в книге Бытия.

2

Плакать я хочу и плакать
не могу. Как бесноватый
некий царь, больной рассудок
говорит служебным духам:

– Принесите, что ли, арфы,
приведите музыкантов.

Многоокиими руками
пусть они меня умоют,
как, бывало, умывали:
на тимпанах и на струнах,
как на тайных родниках,
есть заброшенные чаши,
есть ковши из серебра,
прорицательные звуки.

3

Пусть вперед выходит мальчик,
младший сын и самый слабый.
Кроме странного избранья,
ничего не знает он.

Кто не жил – тот лучше живших
нашу жизнь для нас расскажет.
Кто не плакал – тот опишет
нечто горшее, чем плач.

4

Милый друг мой, друг бесценный,
будешь ли ты дальше слушать,
как доселе слушал? Вижу:
бродит нежное вниманье,

собирает глубину –
и высокими цветами
смотрит в низкое окно.

Нет стекла, в каком ушедший
не увидит нас, живущих,
нет небес, в каких отныне
не увижу я тебя.

5

Страшно дело песнопенья
для того, чей разум зорок,
зренье трезво, слово твердо
и над сердцем страх Господень.

Нужно петь, как слабоумный,
быстро, пестро, бесприютно,
нужно бить, как погремушка,
отгоняющая змей:

6

Что ты вьешься, что ты смотришь,
что ты кланчишь, побирушка,
и смиренно причитаешь:
все мое, мое, мое...

7

С фонарями сновидений
мы бредем по тьме крошечной,
шатким светом задевая
ближний куст и дальний дом –

не Лаванов ли? Но что же:
все исчезло, превратилось,
овцы, солнце и девица,
и шумит снотворный мак,
перетряхивая зерна,
рассыпая чудный сон.

8

В бедной хижине альпийской
жил да был один знакомый
мне пастух. Пройдя тернистый
узкий склон, перебредя
ключ студёный – я у двери
постучала и вошла.

9

Он сидел и золотистый
прут строгал: он плел загон
для прекрасных рыжеватых
золотых ягнят – их было
столько, что не перечсть.

Свет двойной над ними вился,
расплетался, заплетался:
свет заката золотого
и золотого очага –
вился, сыпался, как стружки,
на руно, на хлеб, на воду,
на овец и пастуха...

И сказал он...
Подожди,

10

если кто-нибудь поверит,
я клянусь, что много счастья
я видала – но такого
невозможно увидеть:

ходит золото в рубахе,
на полу лежит соломой,
испаряется из чаши
и встречается с собой

в золотых глазах ягненка,
наблюдающего пламя,
и в глазах других ягнят,
на закат в окно глядящих...

11

И сказал он: – Ты подумай:
смерти больше не бывает.
Видишь, мы живем, как пламя
в застекленном фонаре.
Кто, скажи, по тьме крошечной
пробирается, качая
наш фонарь? И кто в закрытый
дом заходит, рыбу ест?

Знаешь – кто? Тогда иди.

12

Он открыл мне дверь и вышел.
Вьюга выла, пыль носилась,
гнулись ели – и ручей
пробежал под самой дверью
и ломался хрупкий лед.

– Не забудь, – сказал он важно, –
«горя много, счастья мало». –
Дал мне валенки и скрылся.
– До свиданья! – снег метет –

13

до свиданья! в сновиденье,
на огнях Кассиопеи,

на огне воспоминанья
ни о чем и обо всем,

до свиданья, моя радость!
Дальше снег и лед колючий,
мелкий, пестрый, хрупкий лед.

14

Страшно дело песнопенья,
но оно мне тихо служит
или я ему служу:

чудной мельнички верчу
золотую рукоятку –
вылетает снег и ветер,
вылетает океан.

Но оно, подобно шляпке,
настигает, исчезая,
карим золотом сверкая
над безглазой глубиной.

Что не нами начиналось,
что закончится не нами,
перемелют в чистой ступке
золотые небеса.

Стансы в манере Александра Попа

1979–1980

Стансы первые

Елене Шварц

For ever separate, and for ever near.

A. Pope

1

Поэт есть тот, кто хочет то, что все
хотят хотеть: допустим, на шоссе
винтообразный вихрь и черный щит –
и все распалось, как метеорит.
Есть времени цветок, он так цветет,
что мозг, как хризопраз, передает
в одну ладонь, в один глубокий крах.
И это правда. Остальное – прах.

2

Не смерти, нет – и что нам в этом зле,
в грехе и смерти? в каменной золе
других созданий, рвавшихся сюда
и съеденных пространством, как звезда.
А жизнь просторна, жизнь живет при нас,
любезна слуху, сладостна для глаз,
и славно жить, как будто на холмах
с любимым другом ехать на санях.

3

Какой же друг? Я говорю: мой друг –
и вижу: звук описывает круг,
потом другой, и крутит эту нить,
отвыкнув плакать, перестав просить.
Мой друг! Я не поверю никому,
что жизнь есть сон и снится одному –
и я свободно размыкаю круг:
благослови тебя Господь, мой друг.

4

И ты, надежда. Ты равняешь всех:
все водят, *это* прячется: в орех,
в ближайший миг, где шумно и черно,
в сушеный мак, в горчичное зерно –
ох, знаю я: в мельчайшую из стран
ты катишь свой мгновенный балаган,
тройные радуги, злаченный мрак.
А безнадежность светит нам, и как!

5

Кто день за днем, как нищий в поездах,
с притворными слезами на глазах
в ворованную шапку собирал –
тот, безнадежность, знает твой хорал.
Он знает это зданье голосов,
идущее в черновике лесов
всё выше, выше – и всегда назад.
И сам поправит, если исказят.

6

Так пусть же нам покажут ночь в горах,
огонь в астрономических садах
и яблоню в одежде без конца
как бы внутри несчастного лица.
Ее одежда не начнется там,
где лепестки начнутся: по пятам
за ней пойдут соцветья и цветы
в арктическую рощу высоты.

7

Там страшно, друг мой. Там горит Арктур
и крутятся шары. Там тьма фигур
с пристрастьем наблюдает мир иной
и видит нас сверкающей спиной:
как будто мы за ней идти должны
из тьмы глубоководной глубины.
И мы идем, глотая пыль и соль,
как шествие, когда вошел король

8

и движется по улицам своим
к собору кафедральному. Пред ним
опустошенье. Позади него –
миллионом спичек чиркнув, вещество
расходится на лица и дома,
столбы, как их расставила чума,
простые арки, плавание и звон...
Но что он видит – знает только он.

9

Ни смерть, ни жизнь, ни зверь, ни человек
и ни надежды безнадежный бег,
ни то, что мы оправданы давно,
ни то, что в глубине моей темно,
не есть желанье, ни желанья часть.
Желанье – тайна. О, желанье – пасть
и не поднять несчастного лица.
Не так, как сын перед лицом отца:

10

как пред болящим – внутренняя боль.
И это соль, и осолится соль.

Стансы вторые

На смерть котенка

Ach, wie nichtig, ach wie flüchtig...

1

Что делает он там, где нет его?
Где вечным ливнем льется существо,
как бедный плащик, обмывая прах
в случайных складках на моих руках,
не менее случайных. Разве сон
переживает душу, как озон
свою грозу – и говорит о ней
умней и тише, тише и умней.

2

Тогда крути, Фортуна, колесо,
тень мнимости, Сатурново кольцо,
тарелку у жонглера на шесте
в обворожившей сердце пустоте.
Но даже на тарелке пылевой,
где каждый обратится в призрак свой,
мы будем ждать в земле из ничего,
прижав к груди больное существо.

3

Болезнь, ибо смерть – болезнь ума,
не более. Болезнь и эта тьма,
в которую он смотрит, прямо и нем,
Бог знает где, Бог знает перед кем.
На твой точильный круг, на быстрый шум,
исчезновенье! пусть наложит ум
свой нож тупой – и искры засвистят,
и образы бессмертные взлетят.

4

Вращаясь, как Сатурново кольцо, –
о горе. Кто кому глядел в лицо?
кто знал кого? к тому, что за спиной,
оглянется – и образ соляной
останется. Мужайся, жизнь моя:
мы убегаем из небытия
огромной лентой, вьющимся шнуром,
гуськом предвечным над защитным рвом.

5

Но если бы с обидой или злом
они являлись! колотым стеклом
кидая нам в глаза – и в тот же миг
живые слезы вымывали их!
Ну, поднимись! Лежать в уме ничком
немыслимо; держаться ни на чем,
не быть ничем, крошиться, как слюда,
катиться, как шеольская вода!

6

галактика? воронка? водопад?
рассыпанный и распыленный клад?
но что-то там болеет: бедный путь,
как ящерка, мелькнувший где-нибудь,
среди камней, быть может, мировых,
бесценных, славных. Только что нам в них.
И нужен облик, видимый, как снег:
он колыбель, качающая всех.

7

Живое живо в глубочайшем сне,
в забвении, в рассеянье, на дне
какого-то челна: не дух, не плоть,
но вся кудель чудес Твоих, Господь.
Оно признание – собеседник Твой.
Оно сознания ливень проливной.
Под шум воды на крышах шумовых
оно заснуло на руках Твоих.

8

Грядущее – как степь, как решето.
Не бойся и не жалуйся: ничто
здесь все равно не будет *больше* слез.
Все остальное пусто, как мороз
арктический. А он себя сомкнул,
и холмик смерти быстро обогнул,
и побежал, словно увидел цель.
И в эту шерсть уходит взгляд, как в щель.

И все пройдет, и все летит, как снег:
изнанка зренья, оболочка век,
пустого сновиденья вещество
или измученное существо –
неважно. Все уйдет из глаз моих
по образам и по ступеням их,
все катится, как некий темный шар,
разматывая *имени* пожар.

Стансы третьи

Вино и плавание

Non vogliate negar l'esperienza
di retro al sol, del mondo senza gente...
Dante. Inf. XXVI, 117–118

1

Существование – смутное стекло.
Военный марш или роман Лакло,
или трактат о фауне озер –
мне все равно. Гадательный прибор
повсюду крылья пробует, горит
и в зрении, как бабочка, сорит
другими временами, и другой
моток пространства катит пред собой.

2

Я не люблю старинных небылиц
о призраках убитых и убийц,
и если их нацедит ночь сама –
тяжелый хмель трусливого ума
я выплесну: судьбой теней своих
пусть бесы потешают псов цепных
и, чью-то совесть подцепив крючком,
показывают в облике ручном –

3

чур, чур, меня! сам воздух, самый ход
его: подобье капилляров, сот,
безвидных гротов, кованых оград –
не пустится на этот маскарад.
Но полночь – кубок; я возьму его,
и смертных чувств простое вещество,
бесстрашное – да будет вживлено
в поминовенье, сладкое вино.

4

Оно одно – обширная, ничья,
единственная родина, края,
в которых, кроме края, ничего.
Когда-нибудь другое существо
возьмет его и вспомнит обо мне,
как будто я давно уже вове
или не то, что здесь передо мной
стоит, пренасыщаясь глубиной...

5

Ну, колеса тяжелый поворот:
ход краткостей, верхов, низов, долгот,
машина звука, плавание в уме,
движение по неведомой кайме.
Не правда ли? нам жить не надоест,
пока мы не увидим Южный Крест –
и ради сострадания звезд чужих
употребим остаток чувств земных!

6

Бездейственное плавание влечет
особенно: как будто дальше ход,
похожий на мышиный. Вот туда
с тяжелым стоном тянется вода.
О, говорят, что есть еще места,
где здешнего пространства теснота
пульсирует, и кажется другой –
проколотой таинственной иглой.

7

Внутри? о да. Но лучше не внутри,
а где-нибудь. Скорее оботри
от *внутреннего* драгоценный жар,
кристальный куб, пересеченный шар:
оно мелькает, как летучий прах,
всё счастья ждет, всё топчется в дверях,
всё ноет, будто ты чего жалел
или свой хлеб перед голодным ел –

8

и ну его. Уж если быть, то быть
несчастливыми без оговорок: плыть
прямо в прозор двух щелкающих скал
и, как ребенок, знать, что ты пропал:
– Глядите же вы все, как я хочу,
чтоб вы меня не знали! как взлечу
куда-нибудь из ваших черных дыр –
вы, чудища, и ты, проклятый мир!

9

Как сироты, привыкнущие красть,
врать, сквернословить, прятаться – и всласть
всё думать, думать, думать что есть сил,
что лучше бы их этот Бог забыл,
что Он как боль в кишках, как соль в глазах... –
вдруг видят сон: неразличимый прах
расходится, спокойно отстоя.
И кто-то молвит: – Умница моя,

10

я знаю кое-что о чудесах:
они как часовые на часах.

Стансы четвертые

Памяти Набокова

And then the gradual and dual blue,
As night unites the viewer and the view.

Pale Fire

1

Есть некий дар, не больший из даров;
как бы расположение шаров,
почти бильярд – но если сразу сто,
задетые одним, летят в ничто.
Мой бедный друг, воображаешь ты
корзину беспримерной темноты?
ничуть не так. Вот замысел игры:
его объем есть острие иглы.

2

Дремучая зима, солнцеворот,
когда мороз свою лучину жжет.
Суровое созвездье-полуконь
стоит, нацелясь в низовой огонь
огнем другим – и чу, свистит стрела.
И чучело альпийского орла
за перевалом бренности земной,
словно рожок, беседует со мной.

3

Как странно: быть, не быть, потом начать
немного быть; сличать и различать,
как бабочка, летающий шатер
с углом и лампой, с линиями штор,
кончать одно и думать о другом,
как облако, наполнить целый дом,
сгуститься в ларчик, кинуться в иглу
и вместе с ней скатиться в щель в углу.

4

И триста лет лежать себе в пыли –
и вдруг звучать, как бой часов вдали.

5

Неслышимая музыка звучней.
Собрав миряда рассеянных лучей,
она для нас играет за углом
огромным зажигательным стеклом.
И нравится ее простая весть
о том, что все не здесь – и снова здесь,
что йскрится хрусталик слуховой,
как снежный порошок в бездне меховой...

6

Что это, арфа, клавиши? мой друг,
ничто нам не напомнит этот звук.
То в Альпах непроглядная пурга,
то легкий дух трубит в свои рога.
То дух созвучий, двух и снова двух,
и тот далеко отлетевший дух,
который наполняет этот стих,
как фульский кубок в глубинах морских.

7

Среди старинных стесанных монет
и денег государств, которых нет,
дукатов, и цехинов, и гиней –
среди всего, что умный казначей
собрал по свету и послал назад,
где всё сочтет подводный нумизмат, –
дух говорит, как клады из волны,
изъеденные солью глубины.

8

Клянусь: и дар, и несравненный труд,
и этот всё вмещающий сосуд,
который сохраняют времена
для некоего нового вина,
мы берегли ревнивей, чем король
из неизвестной Фулы: только соль
возьмет его, когда я предпочту,
как пустота, увидеть пустоту.

9

Затем, что, замирая перед ней,
живая плоть исполнена теней
или видений: дуя на ожог,
бессмертие играет, как рожок.
И сладостно меж образов своих,
шаров, шатров и коридоров их
существовать. Но сладостней всего
уйти из них, не помня ничего.

10

А эти все, кто мучает других,
кто скверными губами скверный стих
разжевывает, кто сует в гробы
учебники рабов: мы не рабы, –
кто хочет зла, как будто зло – еда,
и сам себе отвратен навсегда
и выветрится, как кухонный чад, –
мне жалко их. Но пусть они молчат.

11

Никто не знает, где он будет жив
и где живет, разлуку разложив
на колебания зрительной волны
фосфоресцирующей глубины,
как дух и тень. И всё соединит,
и всё рассыплет. Царственный магнит,
дар привлекает множество даров
и катится, как ливень из шаров.

Так выпьем кубок, сложенный, как соль,
за эту жизнь, похожую на боль –
и всё же на пастушеский рожок.
За дальний звук, который ум зажег
и сердце отогрел – и не могло
перемениться смутное стекло.
Еще за то, что мы прискорбно злы.

За милосердье – острые иглы.

Кода

Поэт есть тот, кто хочет то, что все
хотят хотеть. Как белка в колесе,
он крутит свой воображимый рок.
Но слог его, высокий, как порог,
выводит с освещенного крыльца
в каком-то заполярье без конца,
где всё стрекочет с острия копья
кузнечиком в траве небытия.
И если мы туда скосим глаза,
то самый звук случаен, как слеза.

Стелы и надписи

1982

Нине Брагинской,
проникновенно изучившей
этот предмет

Мальчик, старик и собака

Мальчик, старик и собака. Может быть, это надгробье женщины или старухи.

Откуда нам знать,
кем человек отразится, глядя в глубокую воду,
гладкую, как алебастр?

Может, и так:
мальчик, собака, старик.
Мальчик особенно грустен.

– Я провинился, отец, но уже никогда не исправлюсь.
– Что же, – старик говорит, – я прощаю, но ты не
услышишь.

Здесь хорошо.

– Здесь хорошо?..

– Здесь хорошо?.. –

в коридорах
это является.

– Вот, ты звал, я пришел.

Здравствуй, отец, у нас перестроили спальни.

Мама скучает. – Сын мой, поздний, единственный,

слушай,

я говорю на прощанье: всегда соблюдай благородство,
это лучшее дело живущих...

– Мама велела сказать...

– Будешь ты счастлив.

– Когда?

– Всегда.

– Это горько.

– Что поделаешь,

так нам положено.

Молча собака глядит

на беседу: глаза этой белой воды,
этой картины –
«мальчик, собака, старик».

Женская фигура

Отвернувшись,
в широком большом покрывале
стоит она. Кажется, тополь
рядом с ней.
Это кажется. Тополя нет.
Да она бы сама охотно в него превратилась
по примеру преданья –
лишь бы не слушать:
– Что ты там видишь?
– Что я вижу, безумные люди?
Я вижу открытое море. Легко догадаться.
Море – и всё. Или этого мало,
чтобы мне вечно скорбеть, а вам –
досаждать любопытством?

Две фигуры

Брат и сестра? муж и жена? дочь и отец? все это и больше?
Кто из них умер, кто жив

и эту плиту заказал,
памятник встречи?

Кто и кого на прощанье
хочет запомнить? не робко, не жадно. Запомнить
нужно немного, многого мы не выносим:
горсть родимой земли на чужбине – больше не нужно.
Остальное останется там, где ему хорошо.

Взгляд внимательный, смерть, ты не отнимешь –
законную горсть
у того, кто уходит, о нас печалься. Кто же уходит?
кто, соскучившись в долгой разлуке, к милой руке
наконец прикасается? –

тень к тени, бывшее к бывшему,
белое к белому. Что они там говорят?
Говорят:

– Это так.

– Я клянусь, это так.

– Так оно было и будет,
даже если не будет. Так.

Прохожий, люби свою жизнь,
благодари за нее. Тени мало что надо:
памятник встречи.

Госпожа и служанка

Женщина в зеркало смотрит: что она видит – не видно;
вряд ли там что-нибудь есть. Впрочем, зачем же тогда
любоваться одним и гадать, как поправить другое
той или этой уловкой? зачем себя изучать?

Видно, что-то там есть. Что-то требует ласковой мази,
бус и подвесок. Молча служанка стоит
в ожидании просьбы, которой она не исполнит.

Да, мы друг друга ни разу не поняли. Это понятно.
Это было нетрудно.

Труднее другое: мы знали
всё о каждом. Всё, до конца, до последней
нежной его бесконечности.

Не желая, не думая – знали.

Не слушая, знали
и обсуждали в уме его просьбу, с которой он к нам
не успел обратиться и даже подумать. Ещё бы.

Просьба одна у нас всех;

ничего-то и нет кроме этой
просьбы.

Кувшин, надгробье друга

Хочешь – кувшин, хочешь – копье, хочешь – прялку.
Если лгали про локон, как он на небе нашелся, –
лгали недаром.

Ум печальный отыщет в мельчайшей вещице
вещество, из которого сложены наши созвездья,
звуки беззвучных имен, –
она загорится, советется,
как гирлянда в гирляндах, ласкающих смертное сердце:

каждый вечер Персей Андромеду спасает – и каждый
знает, какая звезда спасает его, подхватив
того, кто больше не с нами. Что хочешь ему – то отдай.
Хочешь – кувшин, хочешь – копье, хочешь – прялку.
Что подвернется, он больше не просит. И это сумеет
стать как всё: нужно только за всё не цепляться,
положить эти медные деньги. Он сам разберется,
руку поднимет, какой мы здесь не видали,
руку созвездья. Возьми, перевозчик, ты видишь,
как мы живем на земле:

Прялка. Плуг. Копье. Кувшин.

Играющий ребенок

И в предчувствии мы проживаем
то, чего жить не придется. Великую славу.
Брачную ночь. Премудрую, бодрую старость.
Внуков – детей того сына, которого нет.
Нет, не пустая мечта человеческим сердцем играет.
Знает ребенок, зачем он так странно утешен.
Чем он играет.

Мы не видим лица. Мы глядим на него, как из двери
мать поглядела – и тут же спокойно уходит:
он играет. Белый луч на полу.
– Он еще поиграет,
я успею доделать, что нужно.
Время не ждет, он играет.

Перед самым несчастьем предчувствие нас покидает:
это уже не снаружи, это мы сами. Прекрасно
в этой неслышимой музыке, в комнате белой.
Так он в сердце играет,
ребенок, играющий в шашки.

Надпись

Нина, во сне ли, в уме ли, какой-то старинной дорогой
шли мы однажды, как мне показалось, вдоль многих
белых, сглаженных плит.

– Не Аппиева, так другая, –
ты мне сказала, – это неважно. У их городов
мало ли было дорог,
которые к гробу от гроба
переходили.
– Здравствуй! – слышали мы, –
здравствуй! (мы знаем, это любимое слово прощанья).
Здравствуй! как ясно ты смотришь на милую землю.
Остановись: я гляжу глазами огромней земли.
Только отсутствие смотрит. Только невидимый видит.
Так скорее иди: я обгоняю тебя.

Из книги

Ямбы

1984–1985

Пятые стансы

De arte poetica

1

Большая вещь – сама себе приют.
Глубокий скит или широкий пруд,
таинственная рыба в глубине
и праведник, о не вечернем дне
читающий урочные Часы.
Она сама – сосуд своей красоты.

2

Как в раковине ходит океан –
сердечный клапан времени, капкан
на мягких лапах, чудище в мешке,
сокровище в снотворном порошке, –
так в разум мой, в его скрипучий дом
она идет с волшебным фонарем...

3

Не правда ли, минувшая строфа
как будто перегружена? Лафа
тому, кто наяву бывал влеком
всех образов серебристым косяком,
несущим нас на острых плавниках
туда, где мы и всё, что с нами, – прах.

4

Я только в скобках замечаю: свет –
достаточно таинственный предмет,
чтоб говорить Бог ведаёт о чем,
чтоб речь, как пыль, пронзенная лучом,
крутилась мелко, путано, едва...
Но значила – прозрачность вещества.

5

Большая вещь – сама себе приют.
Там скачут звери и птенцы клюют
свой музыкальный корм. Но по пятам
за днем приходит ночь. И тот, кто там,
откладывает труд: он видит рост
магнитящих и слезотворных звезд.

6

Но странно: как состарились глаза!
Им видно то, чего глядеть нельзя,
и прочее не видно. Так из рук,
бывает, чашка выпадет. Мой друг,
что мы как жизнь хранили, пропадет –
и незнакомое звездой взойдет ...

7

Поэзия, мне кажется, для всех
тебя растят, как в Сербии орех
у монастырских стен, где ковш и мед,
колодец и небесный ледоход, –
и хоть на миг, а видит мирянин
свой ветхий век, как шорох вешних льдин ...

8

– О, это всё: и что я пропадаю,
и что мой разум ныл и голодал,
как мышь в холодном погребе, болел,
что никого никто не пожалел –
всё двинулось, от счастья очумев,
как «всё пройдет», Горациев припев ...

9

Минуто, жизнь, зачем тебе спешить?
Еще успеешь ты мне рот зашить
железной ниткой. Смилуйся, позволь
раз или два испробовать пароль:
«Большая вещь – сама себе приют».
Она споет, когда нас отпоют, –

10

и, говорят, прекрасней. Но теперь
полуденной красы ночная дверь
раскрыта настежь; глубоко в горах
огонь созвездий, ангел и монах,
при собственной свече из глубины
вычитывает образы вины...

11

Большая вещь – утрата из утрат.
Скажу ли? взгляд в медиоланский сад:
приструнен слух; на опытных струнах
играет страх; одушевленный прах,
как бабочка, глядит свою свечу:
– Я не хочу быть тем, что я хочу!

12

И будущее катится с трудом
в огромный дом, секретный водоем...

Элегия, переходящая в Реквием

Tuba mirum spargens sonum...

1

Подлец ворует хлопок. На неделе
постановили, что тискам и дрели
пора учить грядущее страны,
то есть детей. Мы не хотим войны.
Так не хотим, что задрожат поджилки
кой у кого.

А те под шум глушилки
безумство храбрых славят: кто на шаре,
кто по волнам бежит, кто переполз
по проволоке с током, по клоаке –
один как перст, с младенцем на горбе –
безвестные герои покидают
отчества таинственные, где

подлец ворует хлопок. Караваны,
вагоны, эшелоны... Белый шум...
Мы по уши в бесчисленном сырце.
Есть мусульманский рай или нирвана
в обильном хлопке; где-нибудь в конце
есть будущее счастье миллиардов:
последний враг на шаре улетит –
и тишина, как в окнах Леонардо,
куда позирующий не глядит.

Но ты, поэт! классическая туба
 не даст соврать; неслышимо, но грубо
 военный горн, неодолимый горн
 велит через заставы карантина:
 подъем, вставать!

Я, как Бертран де Борн,
 хочу оплакать гибель властелина,
 и даже двух.

Мне провансальский дух
 внушает дерзость. Или наш сосед
 не стоит плача, как Плантагенет?

От финских скал до пакистанских гор,
 от некогда японских островов
 и до планин, когда-то польских; дале –
 от недр земных, в которых ни луча –
 праматерь нефть, кормилица концернов, –
 до высоты, где спутник, щебеча,
 летит в капкан космической каверны, –

пора рыдать. И если не о нем,
 нам есть о чем.

Но сердце странно. Ничего другого
 я не могу сказать. Какое слово
 изобразит его прискорбный рай? –
 Что ни решай, чего ни замышляй,
 а настигает сострадания мгла,

как бабочку сачок, потом игла.
На острие чьего-нибудь крушенья
и выставят его на обозренье.

Я знаю неизвестно от кого,
что нет злорадства в глубине его –
там к существу выходит существо,
поднявшееся с горном сострадания
в свой полный рост надгробного рыдания.

Вот с государственного катафалка,
засыпана казенными слезами
(давно бы так!) – закрытыми глазами
куда глядит измученная плоть,
в путь шедше скорбный? ...

Вот Твой раб, Господь,
перед Тобой. Уже не перед нами.

Смерть – Госпожа! чего ты не коснешься,
все обретает странную надежду –
жить наконец, иначе и вполне.
То дух, не приготовленный к ответу,
с последним светом повернувшись к свету,
вполне один по траурной волне
плывет. Куда ж нам плыть ...

4

Прискорбный мир! волшебная красильня,
торгующая красками надежды.
Иль пестрые, как Герион, одежды

мгновенно выбелит гидроперит
немногих слов: «Се, гибель предстоит...»?
Нет, этого не видывать живым.
Оплачем то, что мы хороним с ним.

К святым своим, убитым, как собаки,
зарытым так, чтоб больше не найти,
безропотно, как звезды в зодиаке,
пойдем и мы по общему пути,
как этот. Без суда и без могилы
от кесаревича до батрака
убитые, как это *нужно было*,
давно они глядят издалека.

– Так нужно было, – изучали мы, –
для быстрого преодоления тьмы. –
Так нужно *было*. То, что нужно *будет*,
пускай теперь кто хочет, тот рассудит.

Ты, молодость, прощай. Тебя упырь
сосал, сосал и высосал. Ты, совесть,
тебя едва ли чудо исцелит:
да, впрочем, если где-нибудь болит,
уже не здесь. Чего не уберечь,
о том не плачут. Ты, родная речь,
наверно, краше он в своем гробу,
чем ты теперь.

О тех, кто на судьбу
махнул – и получил свое.
О тех,
кто не махнул, но в общее болото

с опрятным отвращением входил,
из-под полы болтая анекдоты.
Тех, кто допился. Кто не очень пил,
но хлопок воровал и тем умножил
народное богатство. Кто не дожил,
но более – того, кто пережил!

5

Уж мы-то знаем: власть пуста, как бочка
с пробитым дном. Чего туда ни лей,
ни сыпь, ни суй – не сделаешь полней
ни на вершок. Хоть полстраны – в мешок
да в воду, хоть грудных поставь к болванке,
хоть полпланеты обойди на танке –
покоя нет. Не снится ей покой.
А снится то, что *будет* под рукой,
что быть *должно*. Иначе кто тут правит?

Кто посреди земли себя поставит,
тот пожелает, чтоб земли осталось
не более, чем под его пятой.
Власть движется, воздушный столп витой,
от стен окоченевшего кремля
в загробное молчание провинций,
к окраинам, умершим начеку,
и дальше, к моджахедскому полку –
и вспять, как отраженная волна.

Какая мышеловка. О, страна –
 какая мышеловка. Гамлет, Гамлет,
 из рода в род, наследнику в наследство,
 как перстень – рок, ты камень в этом перстне,
 пока идет ужаленная пьеса,
 ты, пленный дух, изнемогая в ней,
 взгляни сюда: здесь, кажется, страшной.

Здесь кажется, что притча – Эльсинор,
 а мы пришли глядеть истолкованье
 стократное. Мне с некоторых пор
 сверх меры мерзостно претерпеванье,
 сверх меры тошно. Ото всех сторон
 крадется дрянь, шурша своим ковром,
 и мелким стратегическим пунктиром
 отстукивает в космос: *tuba... mirum...*

Моей ученой юности друзья,
 любезный Розенкранц и Гильденстерн!
 Я знаю, вы ребята деловые,
 вы скажете, чего не знаю я.
 Должно быть, так:
 найти себе чердак
 да поминать, что это не впервые,
 бывало хуже. Частному лицу
 космические спазмы не к лицу.
 А кто, мой принц, об этом помышляет,
 тому гордыня печень разрушает
 и теребит мозги. Но кто смирен –
 живет, не вымогая перемен,
 а трудится и собирает плод
 своих трудов. Империя падет,

палач ли вознесется высоко –
а кошка долакает молоко
и муравей достроит свой каркас.
Мир, как бывало, держится на нас.
А соль земли, какую в ссоре с миром
вы ищете, – есть та же *Tuba mirum*...

– Так, Розенкранц, есть та же *Tuba mirum*,
есть тот же Призрак, оскорбленный миром,
и тот же мир.

7

Прощай, тебя забудут – и скорей,
чем нас, убогих: будущая власть
глотает предыдущую, давясь, –
портреты, афоризмы, ордена...
Sic transit gloria. Дальше – тишина,
как сказано.

Не пугало, не шут
уже, не месмерическая кукла,
теперь ты – дух, и видишь всё как дух.

В ужасном восстановленном величье
и в океане тихих, мощных сил
теперь молись, властитель, за народ...

Мне кажется порой, что я стою
у океана.

– Бедный заклинатель,
ты вызывал нас? так теперь гляди,
что будет дальше...

– Чур, не я, не я!

Уволь меня. Пусть кто-нибудь другой.
Я не желаю знать, какой тоской
волнуется невиданное море.
«Внизу» – здесь это значит «впереди».
Я ненавижу приближенья горя!

О, взять бы всё – и всем и по всему,
или сосной, макнув ее в Везувий,
по небесам, как кто-то говорил, –
писать, писать единственное слово,
писать, рыдая, слово: ПОМОГИ!

огромное, чтоб ангелы глядели,
чтоб мученики видели его,
убитые по нашему согласью,
чтобы Господь поверил – ничего
не остается в ненавистном сердце,
в пустом уме, на скарёдной земле –
мы *ничего* не можем. Помоги!

Безымянным оставшийся мученик

– Отречься? это было бы смешно.
Но здесь они – и больше никого.
До наших даже слуха не дойдет,
исключено.
Темница так темница –
до окончания мира.
Чтобы им
мое терпение сделалось уроком?
Что им урок – хотелось бы взглянуть!
Их ангелы, похоже, не разбудят,
не то что вот таких, иноязычных,
малютка-смерть среди орды смертей
в военной области.

Никто, увы,
исключено. Никто глазами сердца
мой путь не повторит. Там что решат?
от кораблекрушенья, эпидемий ...

Вот напугали, тоже мне: никто.
Чего с них требовать. Они ни разу
не видели, как это небо близко,
но главное – как на больных детей
похоже... Верность? нужно быть злодеем,
чтоб быть неверным. Уж скорей птенца
я растопчу или пинком в лицо
старуху-мать ударю – но тебя,
все руки протянувшие ко мне,
больные руки! Кто такое может.
Я не обижу, Господи. Никто.

Поступок – это шаг по вертикали.
Другого смысла и других последствий
в нем нет.
И разве вам они нужны?

Элегия липе

Но следа стопы не оставит
вершиной пахнущий шаг.
Я чувствую, как нарастает
несущий нас кверху размах.

Из стихов школьных лет

К деревьям тоже можно привязаться,
как к человеку, и еще сердечней;
их, может, не придется хоронить –
уж справедливее тогда остаться
тебе, не мне: вы проще, долговечней...
Последний слух и тронуть и унять

как хорошо, когда, подруга-липа,
ты бы явилась. Ваше равнодушие –
конечно, невнимательная ложь.
Кто знает мысли, движимые в листьях?
Глаза ствола кто подстерег? те, ваши
глаза движенья? – равенство и дрожь

и *все равно*, и притяжение света,
особенное вечером ненастным,
когда покажется: сейчас пойму
всё, всё... – и тут прижизненная Лета
впадает в ум, и с лепетом древесным
слова скрываются в родную тьму,

как плавающий взгляд новорожденных:
скорбя о всем, высказывая жалость
еще ничью на языках ничьих...
И много лучше, чем в глазах влюбленных –
или не так? – исчезнуть, отражаясь
в глазах деревьев – в помощи очах

и отпущенья. Дым благоприятный,
рассеиваясь по пути, до неба
доносит только то, что нет его.
Не так ли, липа? цветочные пятна,
все эти ветки, листья и движенья...
Исчезновение – наше существо.

С тех самых пор, как дачную террасу
твоя магнитная сжимала сила
до роковой летающей доски –
и вверх, и вниз, и больше вверх, и сразу
всем вихрем вниз – как будто бы просило
расколошматить сердце на куски,

и поскорее. – Боже неизвестный,
чего ты хочешь, если это правда,
что хочешь ты? огня, пустыни, змей? –
и вниз доска, сама себе не рада...
С тех самых пор я по тоске древесной
прекрасно знаю о тоске моей.

Но ты кивни – и побредут картины –
такие же, из той же жизни тесной –
в несвойственной им золотой пыли:
благословил ли их огонь небесный,
свет неизвестный Славы или Шехины
за то одно, что были и прошли?

Увы, нас время учит не смирению,
а недоверью. В этой скорбной школе
блажен, кто не учился до конца!
Того не бросят, с ним идут деревья,

как инструменты музыкальной боли
за причетом фракийского певца.

Вся музыка повернута в родную,
неровную и чуткую разлуку,
которую мы чуем, как слепой, –
по теплоте. И я в уме целую
простую мне протянутую руку –
твой темный мир и бледно-золотой.

Из книги

Недописанная книга

1990–2000

Бабочка или две их

Памяти Хлебникова

1

Те, кто жили здесь, и те, кто живы будут
и достроят свой чердак,
жадной злобы их не захочу я хлеба:
что другое – но не так.

Но и ты, и ты, с кем жизнь могла бы
жить и в леторасли земной,
поглядев хотя б глазами скифской бабы,
но, пожалуйста, пройди со мной!

Что нам злоба дня и что нам злоба ночи?
Этот мир, как череп, смотрит: никуда, в упор.
Бабочкою, Велимир, или еще короче
мы расцвечивали сор.

2

Бабочка летает и на небо
пишет скорописью высоты.
В малой мельничке лазурного оранжевого хлеба
мелко, мелко смелются

чьи-нибудь черты.

Милое желание сильнее
силы страстной и простой.
Так быстрее, быстрее! – еще я разумею –
нежной тушью, бесполезной высотой.

Начерти куда-нибудь три-четыре слова,
напиши кому-нибудь, кто там:
на коленях мы, и снова,
и сто тысяч снова
на земле небесной
мы лежим лицом к его ногам.

Потому что чудеса великолепней речи,
милость лучше, чем конец,
потому что бабочка летает на страну далече,
потому что милует отец.

Варлаам и Иоасаф

Старец из пустыни Сенаарской...
Русский духовный стих

1

Старец из пустыни Сенаарской
в дом приходит царский:
он и врач,
он и перекупщик самоцветов.
Ум его устроив и разведав,
его шлют недоуменный плач
превратить во вздох благоуханный
о прекрасной,
о престранной
родине, сверкнувшей из прорех
жизни ненадежной, бесталанной,
как в лачуге подземельной смех.

Там, в его пустыне, семенами
чудными полны лукошки звезд.
И спокойно во весь рост
сеятель идет над бороздами
вдохновенных покаянных слез:
только в пламя засевают пламя,
и листают книгу не руками,
и не жгут лампы над строками,
но твою, о ночь, возлюбленную нами,
выжимают световую гроздь.

Но любого озаренья
и любого счастья взгляд
он без сожаления оставит:

так садовник сажит, строит, правит –
но хозяин *входит* в сад.
Скажет каждый, кто работал свету:
ангельскую он прервет беседу
и пойдет, куда велят.

Потому что вверх, как выпел,
поднимает сердце благодать,
потому что есть любовь и гибель,
и они – сестра и мать.

2

– Мне не странно, старец мой чудесный, –
говорит царевич, – хоть сейчас,
врач, ты подними меня с постели тесной,
друг, ты уведи от сласти неуместной.
Разве же я мяч в игре бесчестной,
в состязанье трусов и пролаз?

Строят струны, звезды беспокоят.
Струны их и звезды ничего не стоят,
все они отвернуты от нас.

И я руку поднимаю
и дотрагиваюсь – и при мне
рвется человек, как ткань дурная,
как бывает в страшном сне.

Но от замысла их озлобленья
не прошу я: сохрани! –

бич стыда и жало умиления
мне страшнее, чем они.

Мне страшнее, старец мой чудесный,
нашего свиданья час,
худоба твоя, твой Царь Небесный,
Царь твой тихий, твой алмаз.

Ветер веет, где захочет.
Кто захочет, входит в дом.
То, что знают все, темнее ночи.
Ты один вошел с огнем.

Как глаза, изъеденные дымом,
так вся жизнь не видит и болит.
Что же мне в огне твоём любимом
столько горя говорит?

Если бы ты знал, какой рукою
нас уводит глубина! –
о, какое горе, о, какое
горе, полное до дна.

3

И как сердце древнего рассказа,
бьется в разных языках –
не оставивший ни разу
никого пропавшего, проказу
обдувающий, как прах,

из прибоя поколенья
собирающий Себе народ –
Боже правды, Боже вразумленья,
Бог того, кто без Тебя умрет.

Хильдегарда

Патрику де Лобье

– С детских лет, – писала Хильдегарда, –
а теперь мне семьдесят, отец,
и должно быть, легкими шагами парда
из укрытья вышел мой конец –

с детских лет, когда, еще не зная,
для кого, кому наш дар,
но встает душа пустая
и пугает, как пожар –

потому что это правда страшно:
сердце знает свой предел.
Подойти и взять такого брашна
сам никто не захотел! –

с детских лет до этой самой ночи,
до последней, если Бог судил,
если разум знает,
если воля хочет,
если дух непобедим –

вглядываясь в облака и крыши,
в то, чего не миновать,
в то, что минется и станет выше,
чем позволено понять, –

мир, рассыпанный на вещи,
у меня в глазах теряет вид:
в пламя, в состраданье крепкое, как клещи,
сердце схвачено,
и блещет,
как тот куст: горит и не сгорит.

Из книги

Вечерняя песня

1996–2005

Деревья, сильный ветер

За нами двери закрываются.
И, соблюдая темноту,
они сдвигаются, переменяются
с обычным голосом в неговорящем рту,

деревья бедные, деревья дачные,
деревья ветра, заключенного в зерно:
глаза другие, окончательно прозрачные,
и корни глубже, чем глазное дно.

Не чистый дом и не тепло с мороза,
не драгоценный разговор друзей,
нет, вы, прекрасные, – судьба без отзыва,
язык сердечных крепостей.

И они поднимаются в шелке
над бездарным позором оград
и одни в этом смирном поселке
ничего, ничего не хотят.

То все приплывшие на берега бесславные,
так и не знавшие про благодать,
мы поднимаем руки давние
к тому, чего не миновать.

И стоят, словно сторож их будит
колотушкой какой из стекла:
так пускай же что будет, то будет,
ведь судьба уже кверху ушла!

Или чтобы над смертью многочисленной
трамплин подбрасывал один –

вы думаете, мы за взгляд единомысленный
любое небо отдадим?

И стоят, исполняя присягу,
вызывавшую из зерна:
есть отчизна, подобная стягу,
и она до конца, как война.

И ветер, выпрямившись, режет в полосы
какой-то лампы редкий круг
и возвращает им украденного голоса
тепло и шум, и кровь и звук.

– Отец, ты видишь, всем чего-то надо.
Мне нужно милости твоей.
Или лежать, как рухлядь листопада
непроницаемых корней.

Четыре восьмистишия

1

В неизвестной высоте небесной,
там, где некого искать,
звезды движутся шеренгой тесной,
продолжая вовлекать –

словно лезвия, полозя
их сияния обнажены –
в то, что слышат прежде всякой просьбы,
прежде всякой тишины.

2 Песенка

В. Полухиной

Мы в тень уйдем и там, в тени,
как в беге корабля,
с тобой я буду говорить,
о тихая земля,

как говорит приречный знак,
целуя ноги рек,
как говорит зарытый клад,
забытый человек.

Кто любит слово, тот его и знает,
кто любит звук, тому он и звучит:
как в адаманте луч, петляет и бряцает
внезапным росчерком ирид.

И в светлом облаке звучанья
его вознаградит сполна
царей и царств земных напрасное мечтанье,
возлюбленная тишина.

4 *И не как свет*

Памяти...

«И не как свет умерших звезд доходит» –
как хорошо: и не как свет.
И не как голос по задворкам слуха бродит,
и голос жив, а говорящий – нет,

не как навязчивое наважденье,
не как боготворимый след –
нет, вы являетесь, как первое движенье
руки, перевернувшей свет.

Вениамин

Анне Великановой

Позову, и сердце радо:
мята, мед, имбирь и тмин.
Дней скудеющих услада,
гость земли, Вениамин.

В час рожденья из колодца
смотрит выпуклая ртуть
и у губ она смеется,
как кормилица грудь.

О Творец, в Твоих ущельях,
в тишине Твоих пустынь,
на раскаченных качелях
звезд, со стен Твоих твердынь

посмотри на кудри эти:
видишь ли, как вижу я,
будто все, кто дышат, – дети,
все, кто смотрят, – сыновья;

ибо каждый, кто обидит,
прикоснется к чаше сей.
О, не это ли увидит,
прячась в скалы, Моисей?..

Позову – и обернется,
и стоит, как все, один.
Час рожденья – час сиротства
и вдовства, Вениамин.

Колыбельная

Поют, бывало, убеждают,
что время спать, и на ходу
мотают шерсть, и небо убегает
в свою родную темноту.

Огонь восьмерками ложится,
уходят в море корабли,
в подушке это море шевелится:
в подушке, в раковине и в окне вдали.
И где звезды рождественская спица?
где бабушка, моя сестрица?
мы вместе долго, долго шли
и говорим:

смотри, какой знакомый,
какой неведомый порог!
Кто там соскучился? кто без детей и дома,
как в чистом поле, одинок?

Мы не пойдем, где люди злые,
куда не велено ходить,
но здесь, где нам постели застелили
и научили дружно жить,
мы не расстанемся.
В окне лицо мелькнуло.
У входа нужно обувь снять.
Звезда вечерняя нам руки протянула,
как видящая и слепая мать.

Деревня в детстве

Непонятные дети, и холод, и пряжа,
конский след и неведомый снег
говорили: у вас – мы не знаем, у нас же
восемнадцатый, кажется, век.

И сейчас я подумать робею,
как посмотрит глазами пещер
тридесятое царство, страна Берендея
и несчастье, несчастье без мер.

О, такое несчастье, что это, казалось,
не несчастье, а верная весть:
ничего на земле, только горе осталось;
правда – горе за горем и есть.

Это огненной птицы с узорами рая
бесконечное слово: молчи!
В рот какой же воды набирая,
мы молчим, как урод на печи?

Тени всюду мне близки, но там эти лица
собирались и ночью и днем,
приучая терпеть и молиться
или что-нибудь сделать с огнем.

И от родины сердце сжималось,
как земля под полетом орла,
и казалось не больше земли – и казалось,
что уж лучше б она умерла.

Памяти отца Александра Меня

Отче Александр, никто не знает
здесь о том, что там.
Вряд ли кто-то называет
то, что сердце забывает,
как назвать,
каким словам
сделаться без звука, без сказанья,
как открытая рука...
Вашей радости название
выглядит, как солнце в облака:

это называется любовью,
для которой нет чужих.
Врач, стоящий в изголовье,
пламя нежного здоровья
он зажег уже в больных.

Ливень не зальет,
и ветер не задует,
не затопчет человек.
И не так он страшен, как малюют,
этот мир и этот век.

Из книги

Элегии

1987–2004

Элегия осенней воды

*Памяти Сергея Морозова
и Леонида Губанова*

1

Ты становится *вы*,
 вы все,
 они.

Над концами их, над самоубийством
долго ли нам стоять, слушая, как с вещим свистом
осени сокращаются дни?

2

Зима и старость глядят в лицо мне. Не по-людски
смелыми глазами глядят зима и старость:
нужно им испробовать, что там осталось,
на волчий зуб, на зуб уничтожающей тоски.

3

Поднимись, душа моя, встань, как Критский
 Андрей говорит.
 Поздно, не поздно – речь
не наша, пусть ее от других услышат.
Зима и старость белое слово пишут
в воздухе еще жарком: пламя незримых свеч

4

в темноте еще зримой; будущие следы
на снегу, до которого долго. Сережа, Леня,
помните, как земля ахнет на склоне,
увидав внизу
факел предзимней воды?

5

Со старым посохом я обхожу всё те
же нивы, как всегда несжатые, тайфуны
земляного моря, слабые водные струны,
от которых холмы раскатились, в высоте

6

повторяя звук родника, похожий на ... да,
молоточки какие-то, из восточных. –
То ли волосяные гребенки во рту проточных
вод, из молчания выходящих сюда.

7

Из огня молчания в бледном огне
шелеста – бренчанья – полупенья
вниз глядит вода,
вниз идет согбенная.
Обратясь ко мне,
кто-то говорит:
Есть ли что воды смиренней?

8

Что смиреннее воды? она
терпенья терпеливей, она, как имя Анна,
благодать, подающий нищий, все карманы
вывернувший перед любым желаньем дна.

9

Всякую вещь можно открыть, как дверь.
В занебесный, в подземный ход потайная дверца
есть в них.
Ее нашарив, благодарящее сердце
вбежит – и замолчит на родине.

Мне теперь

10

кажется,
что ничто быстрее туда
не ведет, чем эта, сады пустые,
растенья
луговые, лесные, уже не пьющие, –
чем усыпление
обегающая бессонная вода

11

перед тем, как сделаться льдом, сделаться сном,
стать как веки, стать как верная кожа
засыпавшего в ласке, видящего себя вдвоем

дальше во сне...

Вещи, в саду своем

вы похожи на любовь – или она на вас похожа?

12

Поэт – это тот, кто может умереть

там, где жить – значит: дойти до смерти.

Остальные пусть дурят кого выйдет.

На пустом конверте
пусть рисуют свой обратный адрес.

Одолеть

13

вечное любознательство и похоть – по нам ли труд,

Муза, глядящая вымершими глазами

чудовищного коня, иссекшего водное пламя

из скалы, на которой не живут

14

ни деревья, ни звери, ни птицы. Только вы,

тонкие тени. И вы, как ребенок светловолосый,

собирающий стебли белесой

святой

сухой

травы.

С этим-то звуком смотрят Старость, Зима и Твердь.
С этим свистом крылья по горячему следу
над государствами длинными, как сон,
трусливыми, как смерть,
нашу богиню несут –
Музу Победу.

Земля

Сергею Аверинцеву

Когда на востоке вот-вот загорится глубина ночная,
земля начинает светиться, возвращая

избыток дарёного, нежного, уже не нужного света.
То, что всему отвечает, тому нет ответа.

И кто тебе ответит в этой юдоли,
простое величие души? величие поля,

которое ни перед набегом, ни перед плугом
не подумает защищать себя: друг за другом

все они, кто обирает, топчет, кто вонзает
лемех в грудь, как сновиденье за сновиденьем, исчезают

где-нибудь вдали, в океане, где все, как птицы, схожи.
И земля не глядя видит и говорит: – Прости ему, Боже! –

каждому вслед.

Так, я помню, свечку прилаживает к пальцам
прислужница в Пещерах каждому, кто спускается к старцам,

как ребенку малому, который уходит в страшное место,
где слава Божья, – и горе тому, чья жизнь – не невеста,
где слышно, как небо дышит и почему оно дышит.
– Спаси тебя Бог, – говорит она вслед тому, кто ее не

слышит ...

... Может быть, умереть – это встать наконец на колени?
И я, которая буду землей, на землю гляжу в изумленье.

Чистота чище первой чистоты! из области ожесточенья
я спрашиваю о причине заступничества и прощенья,

я спрашиваю: неужели ты, безумная, рада
тысячелетьями глотать обиды и раздавать награды?

Почему они тебе милы, или чем угодили?

– Потому что я есть, – она отвечает. –

Потому что *все мы были*.

Начало

В первые времена, когда земледельцы и скотоводы
насеяли землю и по холмам
белые стада рассыпались,
обильные, как воды,
и к вечеру прибывались
к теплым берегам, –

перед лицом народа, который еще не видел
ничего подобного Медузиному лицу:
оскорбительной,
уничтожающей обиде,
после которой,
как камень ко дну,
идут к концу, –

перед лицом народа, над размахом пространства,
более свободного, чем вал морской
(ибо твердь вообще свободнее: постоянство
глубже дышит и ровней,
и не тяготится собой) –

и так, в небосводе, чьи фигуры еще неизвестны,
не именованы, и потому горят, как хотят,
перед лицом народа
по лестнице небесной
над размахом пространства
над вниманьем холмов, которые глядят
на нее,
на первую звезду,
с переполненной чашей ночи
восходящую по лестнице подвесной, –

вдруг он являлся:
свет, произносящий, как голос,
но бесконечно короче
все те же слоги:
Не бойся, маленький!
Нечего бояться:
я с тобой.

Музыка

Александру Вустину

У воздушных ворот, как теперь говорят,
 перед небесной степью,
где вот-вот поплывут полубесплотные солончаки,
в одиночку, как обыкновенно, плутая по великолепию
ойкумены,
коверкая разнообразные языки,

в ожидании неизвестно чего: не счастья, не муки,
не внезапной прозрачности непрозрачного бытия,
вслушиваясь, как сторожевая собака, я различаю звуки –
звуки не звуки:
прелюдию к музыке, которую никто не назовет: моя,

ибо она более чем ничья:
музыка, у которой ни лада ни вида,
ни кола ни двора, ни тактовой черты,
ни пяти линеек, изобретенных Гвидо:
только перемещения недоступности и высоты.

Музыка, небо Марса, звезда старинного боя,
где мы сразу же и бесповоротно побеждены
приближеньем вооруженных отрядов дали,
ударами прибоа,
первым прикосновением волны.

О тебе я просила на холме Сиона,
не вспоминая
ни ближних, ни дальних,
никого, ничего –
ради незвучащего звука,
ради незвнящего звона,

ради всевластья,
ради всестрастья твоего.

Это город в середине Европы,
его воздушные ворота:
кажется, Будапешт,
но великолепный вид
набережных его и башен я не увижу, и ничуть не охота,
и ничуть не жаль. Это транзит.
Музыка, это транзит.

Все пройдет, все пропадет, все мягко, мягко стелет ...
Но прежде усыпления,
прежде ускоряющегося соскальзывания с высоты –
знаменитый походный оркестр,
музыка Пети Ростова, которого наутро застрелят,
готовится к выходу из-за полога космической глухоты.

И каждый – ее дирижер.
Ну, валяй моя музыка! сначала эти,
как они? струнные, все вместе.

Хорошо.

Теперь – виолончель,
то есть душа моя: самый надежный звук на свете,
не целясь попадающий в цель.

И теперь:
клекот лавы в жерлах действующего вулкана,
стрекот деревенского запечного сверчка,
сердце океана, стучащее в груди океана,
пока оно бьется, музыка, мы живы,
пока ни клочка

земли тебе не принадлежит,
ни славы, ни уверенья, ни успеха,
пока ты лежишь, как Лазарь у чужих ворот,
сердце может еще поглядеться в сердце, как эхо в эхо,
в вещь бессмертную,
в ливень, который, как любовь, не перестает.

Памяти поэта

Главное – величие замысла,
как говорит Иосиф.

Из письма А. Ахматовой

1

Уставившись в небо,
в пустые черты
в прямую, как скрепа,
лазурь слепоты,
как взгляд берет внутрь,
в свой взвившийся дым
скарб, выморок, утварь,
всё, что перед ним, –

как лоно лагуны,
звук, запах и вид
загробные струны
сестер Пиерид
вбирают, вникая
в молчанье певца
у края
изгнания,
за краем конца –

2

так мертвый уносит,
захлопнув свой том,
ту позднюю осень
с названьем «при нем»,

ту башню, ту арку,
тот дивный проем,
ту площадь Сан Марко,
где шли мы втроем.

3

Не друг, не попутчик
(не брат? не собрат?),
в бряцанье созвучий
родной звукоряд
державший,
как тот,
кто решил наперед,
что жизнь
не заманит
и смерть
не сойдет, –

как руль – корабельщик,
как конный – бразды,
как путники –
угол
земли и звезды:

всё мимо, всё меньше:
молельня, базар...

Звук – странная вещь: Мель-
хиор. Балтазар.
Заставы. Нагорья.

Секретный союз.
Звук – странное горе:
служение Муз.

Чего же искал он,
дух, бросивший всех:
рог, верящий в Карла?
Дым, ищущий: вверх!

4

О да, мы рождались
на равнинах других,
где древняя жалость,
не видя живых,

с хребтом перебитым –
к таким, как сама
(не Дева Обида:
косолапая тьма) –

к забытым,
забитым,
к незашто убитым,
к сведенным с ума...

Смерть – нерусское слово.
Как там Пауль писал?
Смерть – немецкое слово,
но русское слово – тюрьма.

5

Гребец на галере,
кощей на цепи,
этапник в безмерной,
безмерной степи
тоску свою вложат
в то, жгущее всех:
вверх!
здесь невозможно
без этого: вверх!
Иначе,
сглотив наше вечное «Нет!»,
котел твой и нож твой,
позор – людоед.

6

Как дверца,
открытая птице лесной,
как сердце,
враждебное тяге земной, –
от всех гравитаций
отвязанный плот.
Кто сможет остаться,
как он поплывет?

7

То дым не пожарищ,
не горных атак,
не сёл, выдыхающих
душу во мрак,

не тленья,
не гари, не огненных мук,
дым – вечер моления,
он, как Шива, сторук.

8

Вначале шатаюсь
на ватных ногах,
клубясь, утыкаясь,
петляя в кустах –
и над всю потравой,
над долинами слёз
– О Господи, слава
Тебе – занялось! –
он встает на колени,
словно сердце царей,
дым благословенный
земных алтарей.

9

... Вечернее море,
отрада Сафо,
звезда за звездой,
строфа за строфой...
Там больше не вспомнят,
кто умер, кто жив.
Усталый наемник,
волов отрешив...

Что чище того,
что сгорело дотла?
что бездне нет дна и
звездам нет числа ...

10

Как дети играют:
«Чур, первую мне!» –
у края
создания, в заочной стране –

забвения мак,
поминания мед
кто первый уйдет,
пусть с собой и берет –

туда, где, как сестры,
встречает прибой,
где небо, где остров,
где: Спи, дорогой!

Из книги

Начало книги

Три стихотворения Иоанну Павлу II

1 Дождь

– Дождь идет,
а говорят, что Бога нет! –
говорила старуха из наших мест,
няня Варя.

Те, кто говорили, что Бога нет,
ставят теперь свечи,
заказывают молебны.
остерегаются иноверных.

Няня Варя лежит на кладбище,
а дождь идет,
великий, обильный, неоглядный,
идет, идет,
ни к кому не стучится.

2 Ничто

Немощная,
совершенно немощная,
как ничто,
которого не касались творящие руки,
руки надежды,
на чей магнит

поднимается росток из черной пашни,
поднимается четверодневный Лазарь,
перевязанный по рукам и ногам,
в своем сударе загробном,
в сударе мертвее смерти:

ничто,
совершенное ничто,
душа моя! молчи,
пока тебя *это* не коснулось.

3 *Sant Alessio. Roma*

Римские ласточки,
ласточки Авентина,
когда вы летите,
крепко зажмурившись

(о как давно я знаю,
что все, что летит, ослепло –
и поэтому птицы говорят: Господи!
как человек не может),

когда вы летите
неизвестно куда неизвестно откуда
мимо апельсиновых веток и пиний...

беглец возвращается в родительский дом,
в старый и глубокий, как вода в колодце.

Нет, не все пропадет,
не все исчезнет.
Эта никчемность,
эта никому-не-нужность,
это,
чего не узнают родная мать и невеста,
это не исчезает.
Как хорошо наконец.
Как хорошо, что всё,
чего так хотят, так просят
за что отдают
самое дорогое, –

что всё это, оказывается, совсем не нужно.

Не узнали – да и кто узнает?

Что осталось-то?

язвы да кости,

Кости сухие, как в долине Иосафата.

Письмо

*To: Professor Donald Nicholl
'Rostherne', Common Lane, Cheshire, UK*

Здесь, где Вы так и не побывали, Доналд,
в этой стране,
которую Вы так любили
и от которой у нас
ноет уже не сердце, а что-то попроще,
в нашей невыносимой стране
я вспоминаю Ваш дом
на Общей Лужайке,
простой и достойный дом рабочего человека
и Дороти с чаем на подносе
и светлую Вашу кончину.

Святая Русь, Вы говорили,
Китежский град,
где Преподобный делит хлеб с медведем,
где пасхальный Серафим
говорит: Здравствуй, радость моя!
и от его улыбки
загорается звездами дневное небо,
где каторжные молятся за своих конвойных ...

Теперь, быть может, они Вас встречают, Доналд:
как же они не встретят того, кто так им поверил,
Серафим и Преподобный и те, с Колымы и Магадана,
чьи имена неизвестны и чьи лица,
как Вы говорили,
сложатся в лик Святого Духа.

Доналд,
сердце мое жестоко,

как земля, по которой прокатили тяжелые танки,
если что на такой взойдет, то не скоро,
лет через двести.

Ваши слова
о том,
что всё устремляется к неотвратимому миру,
как река к океану,
что всё
изменится и простится,
впадая в общую неизмеримую воду,
в бездну милосердия,
о которой мы знаем, –

Ваши слова не проникнут в него глубоко.
Убитой земле
нечем принять и выхаживать семя.

Вот некрасивое страдание,
о котором Вы спрашивали меня
с прямою человека, привыкшего молиться.
Не зло, не обида, Доналд,
это всё довольно легко проходит ...

Но здесь
нашей поздней ненастной осенью,
исполненной жалости и согласия,
безумной жалости и безумного согласия,
я вспоминаю Вас
и на другом языке Вашим голосом произносимое
слышу
о пасхальном Серафиме,

о Преподобном и его медведе,
о соловецкой молитве,
о шумящей, как северное море,
бездне милосердия.

Колыбельная

Как горный голубь в расщелине,
как городская ласточка под стрехой –
за день нахлопочутся, налетаются
и спят себе почивают,
крепко,
как будто еще не родились –

так и ты, мое сердце,
в гнезде-обиде
сыто, согрето, утешено,
спи себе, почивай,
никого не слушай:

– Говорите, дескать, говорите,
говорите, ничего вы не знаете:
знали бы, так молчали,
как я молчу
с самого потопа,
с Ноева винограда.

Портрет художника в среднем возрасте

Кто, когда, зачем,
какой малярной кистью
провел по этим чертам,
бессмысленным, бывало, как небо,
без цели, конца и названия –
бури трепета, эскадры воздухоплавателя, бирюльки
ребенка –
небо, волнующее деревья
без ветра, и сильнее, чем ветер:
так, что они встают и уходят
от корней своих
и от земли своей
и от племени своего и рода:
о, туда, где мы себя совсем не знаем!
в бессмысленное немерцающее небо.

Какой известкой, какой глиной
каким смыслом,
выгодой, страхом и успехом
наглухо, намертво они забиты –
смотровые щели,
слуховые окна,
бойницы в небеленом камне,
в которые, помнится, гляди не нагладишься?
Ах, мой милый Августин,
все прошло, дорогой Августин,
все прошло, все кончилось.
Кончилось обыкновенно.

В метро. Москва

Вот они, в нишах,
бухие, кривые,
в разнообразных чирьях, фингалах, гематомах
(– ничего, уже не больно!):
кто на корточках,
кто верхом на урне,
кто возлежит опершись, как грек на луврской вазе.
Надеются, что невидимы,
что обойдется.

Ну,
братья товарищи!
Как отпраздновали?
Удалось?
Нам тоже.

Цивилизация

Американка в двадцать лет...

Молодые люди
умирают на далеких войнах,
в автокатастрофах,
от передозировки и просто от скуки:
дышать-то нечем.

А старики
веселыми говорливыми стайками –
розовыми, палевыми, светлосерыми –
летают по свету на лайнерах,
плавают на теплоходах,
посещают джунгли, степи, музеи и пирамиды,
лечатся только травами,
едят только безвредное,
молодеют,
занимаются гимнастикой, танцами и рисованием,
иногда помогают бедным
и глядят голубыми глазами:

человек, как известно, смертен –
но из этого правила,
очень вероятно, возможны исключения.

Луг, юго-западный ветер

Кто говорит,
щурится, лепечет, мигает
за этой невыносимой сиренью,
полоумной от красоты,
а ночью включит
соловьиное светопреставленье?

Кто мелькает,
пробегаёт, как ветер
по тарусским, среднерусским лугам?
тёплый тонкий рваный ветер,
нехотя уходящий
к северным или восточным морям?
Пригибая и отпуская стебли, пробуя, как лепестки и
листья,
бессловесные имена
то ли ангелов, то ли каких-то древних богов,
которые роднее, чем люди,
и всегда мне были понятней.

О Господи, да вот они:
Дрема, Щавель, Куриная Слепота,
Медвежий Глаз, Мышиный Горошек,
Повилика, Нивяник, Кипрей:
вот они, лары мои, пенаты,
лилии полевые
краше Соломона во славе,
вот они, хранители жизни,
вот чего не забудешь,
когда забудешь всё.

Ангел Реймса

Франсуа Федье

Ты готов? –
улыбается этот ангел –
я спрашиваю, хотя знаю,
что ты несомненно готов:
ведь я говорю не кому-нибудь,
а тебе,
человеку, чье сердце не переживет измены
земному твоему Королю,
которого здесь всенародно венчали,
и другому Владыке,
Царю Небес, нашему Агнцу,
умирающему в надежде,
что ты меня снова услышишь;
снова и снова,
как каждый вечер
имя мое вызывают колоколами
здесь, в земле превосходной пшеницы
и светлого винограда,
и колос и гроздь
вбирают мой звук –

но все-таки,
в этом розовом искрошенном камне,
поднимая руку,
отбитую на мировой войне,
все-таки позволь мне напомнить:
ты готов?
к мору, гладу, трусу, пожару,
нашествию иноплеменных, движимому на ны гневу?
Все это, несомненно, важно, но я не об этом.

Нет, я не об этом обязан напомнить.

Не за этим меня посылали.

Я говорю:

ты

готов

к невероятному счастью?

Всё, и сразу

«Не так даю, как мир дает»,
не так:
всё, и сразу, и без размышлений,
без требований благодарности или отчета:
всё, и сразу.

Быстрее, чем падает молния,
поразительней,
чем всё, что вы видели и слышали и можете вообразить,
прекрасней шума морского,
голоса многих вод,
сильней, чем смерть,
крепче, чем ад.

Всё, и сразу.
И не кончится.
И никто не отнимет.

Китайское путешествие

1986

Если притупить его
проницательность, освободить его
от хаотичности, умерить его блеск,
уподобить его пылинке, то оно
будет казаться ясно существующим.

Лао-цзы

И меня удивило:
как спокойны воды,
как знакомо небо,
как медленно плывет джонка в каменных берегах.

Родина! вскрикнуло сердце при виде ивы:
такие ивы в Китае,
сmyвающие свой овал с великой охотой,
ибо только наша щедрость
встретит нас за гробом.

Пруд говорит:
были бы у меня руки и голос,
как бы я любил тебя, как лелеял.
Люди, знаешь, жадны и всегда болеют
и рвут чужую одежду
себе на повязки.
Мне же ничего не нужно:
ведь нежность – это выздоровленье.
Положил бы я тебе руки на колени,
как комнатная зверушка,
и спускался сверху
голосом как небо.

Падая, не падають,
окунаюцца в воду і не мокнут
длинныя рукава дрэвьев.

Дрэвья мае старыя –
пагоды, дарогі!

Сколько раз мы виделась,
а каждый раз, как первый,
задыхается, бегом бежит сердце
с совершенно пустой котомкой
по стволу, по холмам и оврагам веток
в длинные, в широкие глаза храмов,
к зеркалу в алтаре,
на зеленый пол.

Не довольно ли мы бродили,
чтобы наконец свернуть
на единственно милый,
 никому не обидный,
 не видный
 путь?

Шапка-невидимка,
одежда божества, одежда из глаз,
падая, не падает, окунается в воду и не мокнет.
Дрэвья, слова *люблю* толькі вам падходзіць.

Там, на горе,
у которой в коленях последняя хижина,
а выше никто не хаживал;
лба которой не видывали из-за туч
и не скажут, хмур ли он, весел, –
кто-то бывает и не бывает,
 есть и не есть.
Величиной с око ласточки,
 с крошку сухого хлеба,
с лестницу на крыльях бабочки,
 с лестницу, кинутую с неба,
с лестницу, по которой
 никому не хочется лезть;
мельче, чем видят пчелы
 и чем слово есть.

Знаете ли вы,
карликовые сосны, плакучие ивы?
Отвязанная лодка
не долго тычется в берег –
и ни радость
того, что бывало,
и ни жалость:
все мы сегодня здесь, а завтра – кто скажет?
и ни разум:
одни только духи безупречны,
скромны, бесстрашны и милосердны –
простого восхищенья
 ничто не остановит,
простого восхищенья,
 заходящего, как солнце.
Отвязанная лодка
плывет не размышляя,
обломанная ветка
прирастет, да не под этим небом.

Только увижу
путника в одежде светлой, белой –
что нам делать, куда деваться?

Только увижу
белую одежду, старые плечи –
лучше б глаза мои были камнем,
сердце – водою.

Только увижу
что бывает с человеком –
шла бы я за ним, плача:
сколько он идет, и я бы шла, шагала
таким же не спорящим шагом.

Лодка летит
по нижней влажной лазури,
небо быстро темнеет
и глазами другого сапфира глядит.
Знаешь что? мне никто никогда не верил.
(как ребенок ребенку,
умирая от собственной смелости,
сообщает: да, а потом зарыли
под третьей сосной).
Так и я скажу:
мне никто никогда не верил,
и ты не поверишь,
только никому не рассказывай,
пока лодка летит, солнце светит
и в сапфире играет
небесная радость.

Крыши, поднятые по краям,
как удивленные брови:
Что вы? неужели? рад сердечно!
Террасы, с которых вечно
видно всё, что мило видеть человеку:
сухие берега, серебряные желтоватые реки,
кустов неровное письмо – любовная записка,
двое прохожих низко
кланяются друг другу на понтонном мосту
и ласточка на чайной ложке
подносит высоту:
сердечные капли, целебный настой.
Впрочем, в Китае никто не болеет:
небо умеет
вовремя ударить
длинной иглой.

Несчастен,
кто беседует с гостем и думает о завтрашнем деле;
несчастен,
кто делает дело и думает, что он его делает,
а не воздух и луч им водят,
как кисточкой, бабочкой, пчелой;
кто берет аккорд и думает,
каким будет второй, –
несчастен боязливый и скупой.

И еще несчастней,
кто не прощает:
он, безумный, не знает,
как аист ручной из кустов выступает,
как шар золотой
сам собой взлетает
в милое небо над милой землей.

Велик рисовальщик, не знающий долга,
кроме долга играющей кисти:
и кисть его проникает в сердце гор,
проникает в счастье листьев,
одним ударом, одною кротостью,
восхищеньем, смущеньем одним
он проникает в само бессмертье –
и бессмертье играет с ним.

Но тот, кого покидает дух, от кого
отводят луч,
кто десятый раз на мутном месте
ищет чистый ключ,
кто выпал из руки чудес, но не скажет:
пусты чудеса! –
перед ним с почтением
склоняются небеса.

С нежностью и глубиной –
ибо только нежность глубока,
только глубина обладает нежностью, –
в тысяче лиц я узнаю,
кто ее видел, на кого поглядела
из каменных вещей, как из стеклянных
нежная глубина и глубокая нежность.

Так зажигайся,
теплый светильник запада,
фонарь, капкан мотыльков.
Поговори еще
с нашим светом домашним,
солнце нежности и глубины,
солнце, покидающее землю,
первое, последнее солнце.

Может, ты перстень духа,
камень голубой воды,
голос, говорящий глухо
про ступенчатые сады, –
но что же с плачем мчится
крылатая колесница,
ветер, песок, побережье,
океан пустой –
и нельзя проститься,
негде проститься с тобой.
О, человек простой –
как соль в воде морской:
не речь, не лицо, не слово,
только соль, и йод, и прибой –
не имея к кому обратиться,
причитает сам с собой:
может, ты перстень духа,
камень голубой воды,
голос, говорящий глухо
про небывалые сады.

Неужели и мы, как все,
как все
расстанемся?

Знающие кое-что
о страсти быстрее конца,
знающие кое-что
о мире меньше гроша –
пусть берут, кому нужен, –
знающие, что эта раковина – без жемчужин,
что нет ни единой спички, свечки, плошки,
кроме огня восхищенья,
знающие, откуда приходят
звучанье и свеченье, –
неужели мы расстанемся, как простые невежды?

Не меньше, чем ивы вырастать у воды,
не меньше, чем воды
следовать за магнитом звезды,
чем пьяный Ли Бо заглядывать
в желтое, как луна, вино
и чем камень опускаться на дно,
любящие быть вместе –

неужели мы расстанемся, как простые
скупцы и грубияны?

Флейте отвечает флейта,
не костяная, не деревянная,
а та, которую держат горы
в своих пещерах и щелях,
струнам отвечают такие же струны
и слову слово отвечает.

И вечерней звезде, быстро восходящей,
отвечает просьба моего сердца:

Ты выведешь тысячи звезд,
вечерняя звезда,
и тысячами просьб
зажжется мое сердце,
мириадами просьб об одном и том же:
просыпайся,
погляди на меня, друг мой вдохновенный,
посмотри, как ночь сверкает ...

По белому пути, по холодному звездному облаку,
говорят, они ушли и мы уйдем когда-то:
с камня на камень перебредая воду,
с планеты на планету перебредая разлуку,
как поющий голос с ноты на ноту.

Там все, говорят, и встретятся, убежденные млечной дорогой.
Сколько раз – покаюсь – к запрещенному порогу
подходило сердце, сколько стучало,
обещая неведомо кому:
Никто меня не ищет, никто не огорчится,
не попросит: останься со мною!..
О, не от горя земного так чудно за дверью земною.
А потому что не хочется, не хочется своего согрешенья,
потому что пора идти
просить за всё прощенья,
ведь никто не проживет
без этого хлеба сиянья.
Пора идти туда,
где всё из состраданья.

Когда ты свищешь в свой свисток,
вдохновенье, когда
между сухой и нашей душой растет
твоя вода, –
если бы знал он, смертный вихрь,
и ты, пустая гладь,
как я хочу прощенья просить и ноги целовать.

Похвалим нашу землю,
похвалим луну на воде,
то, что ни с кем и со всеми,
что нигде и везде –
величиной с око ласточки,
с крошку сухого хлеба,
с лестницу на крыльях бабочки,
с лестницу, кинутую с неба.
Не только беда и жалость –
сердцу моему узда,
но то, что улыбалась
чудесная вода.
Похвалим веток бесценных, темных
купанье в живом стекле
и духов всех, бессонных
над каждым зерном в земле.
И то, что есть награда,
что есть преграда для зла,
что, как садовник у сада, –
у земли хвала.

Памяти Ш.

Когда наброски, наклонами
рисуют ветки на стекле,
лучистыми, бледнозелеными
глазами кто ответит мне?

За ивами
или за кленами,
свою высматривая синь,
лучистыми, бледнозелеными
глазами скажет мне: «Аминь».

2012

Микаэль Нюдаль

*«Не сразу скажешь, откуда эта поэзия...»**

Поэзию Ольги Седаковой я стал переводить шесть лет назад. Предлог был весьма конкретный. Обратился ко мне редактор новой книжной серии международной поэзии при одном из стоковых издательств, с таким вопросом: готова ли Швеция, по моему мнению, к Ольге Седаковой. Сначала я принял его вопрос как риторический: естественно, готова. (А меня смущал другой вопрос: готов ли я?) Но по ходу работы я стал задумываться о том, в чем, собственно говоря, заключается такая готовность (или отсутствие ее)? Или, ставя вопрос чуть шире: что же происходит, когда встречается поэзия с новым языком? Ведь в этой встрече меняется не только язык, на который переводится, но и поэзия сама. И в чем собственно заключается моя задача как переводчика?

Принято думать, что шведская литература – это то, что писали шведские авторы на шведском языке для того, чтобы читали в Швеции. Что русская поэтическая традиция – это совокупность написанных когда-либо стихотворений на русском языке. Ярким примером тому, что дело обстоит вовсе не так, служит поэзия Седаковой.

* Книгу завершают заметки Микаэля Нюдаля, шведского издателя и переводчика современной русской поэзии, а также книжного художника. В 2012 году в стоковом издательстве «Wahlström & Widstrand» вышла книга его переводов стихов Ольги Седаковой «Portar. Fönster. Valv», щедро принятая шведской публикой. Мы рады, что Микаэль взялся быть в этом русском издании художником, и опыт долгого общения с поэтическим словом нашел свою новую форму. — Ред.

Шведское издание 2012 года во многом совпадает с выбором, сделанным для этого русского издания, но они отличаются друг от друга по некоторым пунктам: русское издание в два-три раза больше, выбор стихов сделан самим поэтом (для шведского издания выбор сделал переводчик), и их расположение не строго хронологическое, а следует, скорее, неким «симфоническим» принципам: отдельные книги превращаются в своего рода «партии», каждая со своей тональностью. Завершает композицию цикл «Китайское путешествие» – такой светлый аккорд (Ольга Александровна, как известно, провела часть детства в Китае).

Главными книгами в шведском издании были «Старые песни» и «Стансы в манере Александра Попа» – два, как мне казалось, таких «полюса» в поэтике Седаковой: между тем как «Песни» отличаются особой лирической близостью, ежедневностью и простотой, «Стансы», наоборот, представлялись мне некой смелой, высоко шатающейся башней. Заполняя «пространство» между этими полюсами, я собрал отдельные стихи, в основном написанные на более или менее узнаваемых диалектах великой, так сказать, русской силлабо-тоники. А работа как раз над «многообразностью» поэтических форм заставляла меня задаваться таким вопросом: что же это значит, что Седакова – русский поэт?

Ибо, без спора, она русским поэтом и является. Даже можно сказать: традиционного склада (я про общую строгость внешних форм, связность и ясность языка, отсутствие игры, доверие к читателю). Но хотя она и пишет на русском, и под стать исторически создавшимся русским стихотворным формам, и перекликаясь с «собратьями» и «сосёстрами» русского Серебряного века (от Хлебникова до Цветаевой), она не ограничена этой традицией. Вопреки кажущимся языковым и культурным «барьерам» она разговаривает, как со своими, и с Данте (итальянский

Ренессанс), и с Александром Попом (английское Просвещение), с Райнером Мария Рильке (немецкий модернизм), с Тристаном и Изольдой (кельтское Средневековье)... И вопреки кажущейся языковой близости, в поэтах русского же Золотого века она особенно ценит (если не *больше* всего, то *раньше* всего остального: об этом она пишет красиво в одном эссе) «странность», «не-совсем-понятность» их речи.

Поэтому не сразу скажешь, откуда эта поэзия. Она приходит как бы сразу из нескольких точек во времени и пространстве, в буквальном смысле соединяя в себя поэтические культуры нескольких языков. А русский – только «один из». Ольга Александровна из тех поэтов, кто знает, что поэт не *попадает* в традицию – он активно ее создает.

«Старые песни» переводились почти что без усилия (бывают такие радостные моменты в работе переводчика, когда стихи сами знают и сами подсказывают, каким должен быть для них язык). Со «Стансами» дело обстояло чуть сложнее: чтобы воздвигнуть такую же «башню» на шведском, я сначала должен был усвоить основы этого зодчества. А именно: изучить английские стихотворные формы XVIII века, особенно так называемый heroic couplet, на который Александр Поп переводил Гомера на английский (полностью, кстати говоря, игнорируя особенности гомеровского стиха). Только потом я мог попытаться передать эти формы как смогу в их специфической, «седаковской» трактовке.

А как ни неожиданно (учитывая относительно сильную традицию перевода русской поэзии на шведский), перевод главного корпуса «традиционных» (назовем их условно так) стихов оказался самым проблематичным. Перевести эти стихи, пользуясь аналогичными формами на шведском, было бы неправильно и бессмысленно. Шведский стих, как известно, давно ушел от метрических

форм, преобладавших в XVIII и XIX веках (но не сильно раньше, поэтому назвать их «традиционными» – это тоже такая условность). Во второй половине XX века уже развился зрелый «пост-метрический» стих – и, кстати говоря, под самым разным влиянием: в нем сказывается и опыт европейского авангарда (в том числе, и не в последнюю очередь, и русского), и опыт перевода библейского стиха (Псалтыри), и возвращение более старых стихотворных форм, которые до этого вытесняла или подавляла *наша* уже «силлабо-тоника». Этот стих ориентируется на ритм, скорее чем на метрику, на разные виды созвучий, скорее чем на рифму, на просодическую целостность стихотворения, скорее чем на его формальное совершенство. Такими я и попытался перевоплотить эти стихи по-шведски: свободно дышащими в своей новой стихии, свободно мыслящими на своем новом языке. (Сделав так, я, кажется, немного отклонился от сложившейся практики перевода русской поэзии на шведский; но это – отдельный разговор.)

А сохранить внешние формы поэзии Седаковой было бы неправильно, не только потому, что она показалась бы шведскому читателю каким-то «старомодным», что ли, «не-актуальным» поэтом. Есть еще более весомый аргумент. Для современного шведского читателя традиционность формы связывается с представлениями о некой непрерываемости исторического опыта, о преемственности поэтического развития (ведь так у нас сложился, собственно говоря, XX век). А поэтика Седаковой, наоборот, вычерчивается на фоне катастрофически и многократно оборванного исторического опыта русского общества в целом и русской словесности в частности.

Только на таком фоне становятся понятными слова поэта, когда она называет 1970-е годы «родиной» своей души, своих стихов. К этой теме она возвращалась не раз. В одном из своих недавних выступлений она,

характеризуя ту эпоху, называет ее первой «культурной контрреволюцией» против направленной на «редукцию человека мыслящего и воспринимающего» культурной революции 1930-х годов. Это была «попытка российского гуманизма» (параллельно европейскому) и «нечто похожее на флорентийский ренессанс». С этим культурным сдвигом связаны в первую очередь имена не поэтов, а мыслителей: переводчиков, философов, культурологов, которые внутри эпохи позднесоветского застоя создали своего рода «контрэпоху». Но из черт этой эпохи не менее важна такая: что она (словами Ольги Александровны самой) «исторически не состоялась», а осталась неким «будущим в прошлом».

Тем не менее эта эпоха продолжает существовать и возрождаться снова и снова в творчестве Ольги Седаковой. В своей поэзии (и не только там) она как бы настаивает на том, что оборванное всегда можно возродить, а потерянное можно вернуть. В этом сознании и заключается ее «актуальность», невзирая на смены истории (и кстати говоря: по своему анти-гуманистическому и анти-филологическому духу наше время не слишком уступает якобы ушедшему советскому). Я бы даже сказал, что тут есть некий такой «утопический призыв», суть которого на самом деле на удивление проста: мы нуждаемся (это опять слова из недавнего выступления) в «искусстве понимания, искусстве мысли, искусстве продолжения. Не только выслушать, но продолжить думать, отвечать, дополнять».

В этой мысли, кстати говоря, и содержится один возможный ответ на заданный выше вопрос, в чем заключается задача переводчика: не столько в том, чтобы передать написанное, сколько в том, чтобы, прислушавшись, дополнить его.

М.Н. – деревня Кноппарк, февраль 2017

Содержание

26 декабря	5
----------------------	---

Старые песни

Первая тетрадь

1 Обида	9
2 Конь	10
3 Судьба	11
4 Детство	12
5 Грех	13
6 «Человек он злой и недобрый...»	14
7 Утешенье	15
8 Спор	16
9 Просьба	17
10 Слово	18

Вторая тетрадь

1 Смелость и милость	19
2 Походная песня	20
3 Неверная жена	21
4 Уверение	22
5 Колыбельная	23
6 Возвращение	24
7 Желание	25
8 Зеркало	26
9 Видение	27
10 Дом	28
11 Сон	29
12 Заключение	30

Стихи из второй тетради, не нашедшие в ней себе места	
Пир	31
Другая колыбельная	32
Старушки	33
Бусы	34
Путешествие	35

Третья тетрадь

1 «– Пойдем, пойдем, моя радость...»	36
2 «Что же я такое сотворила...»	37
3 «Женская доля – это прялка...»	38
4 «Кто родится в черный понедельник...»	39
5 «Как из глубокого колодца...»	40
6 «Были бы мастера на свете...»	41
7 «По дороге длинной, по дороге пыльной...»	42
8 «Ты гори, невидимое пламя...»	43
9 «Обогрей, Господь, Твоих любимых...»	44
Прибавления к «Старым песням»	
Посвящение	45
«Плакал Адам, но его не простили...»	46
«Холод мира...»	47

Из ранних стихов

«Однажды, когда я умру до конца...»	51
«Я жизнь в порыве жить...»	52
Липа	53
«Неужели, Мария, только рамы скрипят...»	54
Гости в детстве	55
«Где тени над молю дежурят...»	56
Проклятый поэт	57
Плач	59
Памяти одной старухи	60
Три богини	61
Первая легенда. Святой Юлиан на охоте	63

Из книги Дикий шиповник. Легенды и фантазии

Дикий шиповник	67
Легенда вторая	68
Selva selvaggia. Триптих из баллады, канцоны и баллады	
I Проводы	69
II Возвращение блудного сына	70
III Баллада продолжения	74
Прощание	76
Странное путешествие	78
Побег блудного сына	80
Легенда девятая. Отпевание монахини	82
Пение	83
«Две книги я несу, безмерно уходя...»	85
«Медленно будем идти и внимательно слушать...»	86
«Мне часто снится смерть и предлагает...»	87
«Ни ангела, звучащего, как щель...»	88
«Где-нибудь в углу запущенной болезни...»	89
Болезнь	90
Путешествие волхвов	93
Утро в саду	96
Азаровка. Сюита пейзажей	
1 Родник	97
2 Поляна	97
3 В кустах	98
4 Ивы	99
5 Холмы	99
6 Высокий луг	100
7 Деревня	100
8 Вещая птица	101
9 Лесная дорога	102
10 Овраг	102
11 Небо ночью	103
12 Сад	103
Портрет художника на его картине	104
Легенда десятая. Иаков	107
Алатырь	108
Сказка	110
Сновидец	112

«– Как упавшую руку, я приподнимаю сиянье...» . . .	113
Старый поэт	114

Тристан и Изольда

Вступление первое	117
Вступление второе	119
Вступление третье	121
1 Рыцари едут на турнир	123
2 Нищие идут по дорогам	125
3 Пастух играет	126
4 Сын муз	127
5 Смелый рыбак. Крестьянская песня	130
6 Раненый Тристан плывет в лодке	131
7 Утешная собачка	133
8 Король на охоте	135
9 Карлик гадает по звездам. Заодно о проказе . . .	137
10 Ночь. Тристан и Изольда встречаются в лесу отшельника	139
11 Мельница шумит	141
12 Отшельник говорит	143

Из книги Ворота. Окна. Арки

Давид поет Саулу	147
Семь стихотворений	149
Горная ода	156
Маленькое посвящение	162
Ночное шитье	163
Кузнечик и сверчок	165
Сельское кладбище.	167
В психбольнице	168
В винном отделе	169
Лицинию	171
На смерть Владимира Ивановича Хвостина	172
На смерть Леонида Губанова	175
Золотая труба	176
Сказка, в которой почти ничего не происходит . . .	178

Стансы в манере Александра Попа

Стансы первые. Елене Шварц	187
Стансы вторые. На смерть котенка	191
Стансы третьи. Вино и плавание	195
Стансы четвертые. Памяти Набокова	199
Кода	204

Стелы и надписи

Мальчик, старик и собака	207
Женская фигура	209
Две фигуры	210
Госпожа и служанка	211
Кувшин, надгробье друга	212
Играющий ребенок	213
Надпись	214

Из книги Ямбы

Пятые стансы. De arte poetica	217
Элегия, переходящая в Реквием	221
Безымянным оставшийся мученик	229
Элегия липе	230

Из книги Недописанная книга

Бабочка или две их	235
Варлаам и Иоасаф	237
Хильдегарда	241

Из книги Вечерняя песня

Деревья, сильный ветер	245
Четыре восьмистишия	247
1 «В неизвестной высоте небесной...»	247

2	Песенка	248
3	В.В. Биbihину	249
4	И не как свет	250
	Вениамин	251
	Колыбельная	252
	Деревня в детстве	253
	Памяти отца Александра Меня	254

Из книги Элегии

	Элегия осенней воды	257
	Земля	262
	Начало	264
	Музыка	266
	Памяти поэта	269

Из книги Начало книги

	Три стихотворения Иоанну Павлу II	
1	Дождь	277
2	Ничто	278
3	Sant Alessio. Roma	279
	Письмо	281
	Колыбельная	284
	Портрет художника в среднем возрасте	285
	В метро. Москва	286
	Цивилизация	287
	Луг, юго-западный ветер	288
	Ангел Реймса	289
	Всё, и сразу	291

Китайское путешествие

1	«И меня удивило...»	295
2	«Пруд говорит...»	296
3	«Падая, не падают...»	297
4	«Там, на горе...»	298

5	«Знаете ли вы...»	299
6	«Только увижу...»	300
7	«Лодка летит...»	301
8	«Крыши, поднятые по краям...»	302
9	«Несчастен...»	303
10	«Велик рисовальщик, не знающий долга...»	304
11	«С нежностью и глубиной...»	305
12	«Может, ты перстень духа...»	306
13	«Неужели и мы, как все...»	307
14	«Флейте отвечает флейта...»	308
15	«По белому пути...»	309
16	«Ты знаешь, я так тебя люблю...»	310
17	«Когда мы решаемся ступить...»	311
18	«Похвалим нашу землю...»	312

Памяти Ш.		315
-----------	-----------	-----

*

Микаэль Ньюдаль:

«Не сразу скажешь, откуда эта поэзия...»	317
--	-----



А. Гостинцев Облако с черным (2015)

На обложке:

А. Гостинцев. Облако с черным (2015, деталь)

Редактор М.А. Криммель

Макет, верстка, художественное оформление М. Нюдаль

Корректор Н.М. Шешеня

Подготовка электронного издания

Редактор М. А. Криммель

Дизайн Р. А. Князев